

8464
Г93

ПОДВИГ



Семен ГУДЗЕНКО

ДАЛЬНИЙ
ГАРНИЗОН

СЕРИЯ «ПОДВИГ»

**Общественная
редакционная коллегия:**

АЛЕКСЕЕВ М. Н.
АБРАМОВ А. М.
БОНДАРЕВ Ю. В.
БОРЗУНОВ С. М.
ЖУКОВ В. С.
КАМБУЛОВ Н. И.
СТАДНЮК И. Ф.
ШКАЕВ В. В.

ПОДВИГ



Семен ГУДЗЕНКО

**ДАЛЬНИЙ
ГАРНИЗОН**

**СТИХОТВОРЕНИЯ
ПОЭМА**

МОСКВА
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
1984

Составление и послесловие С. Ярославцевой

Художник С. Данилов

Тексты стихотворений печатаются по изданию:
Гудзенко С. Избранное. М., Худож. лит., 1977.
«Костры» и «Год рождения» — по изданию: Гудзенко С. Стихи. М., Гослитиздат, 1961.

Датировка стихотворений дается по времени их написания в соответствии с архивами поэта (ЦГАЛИ, ф. 2207, оп. 1).

Гудзенко С. П.

Г93 Дальний гарнизон: Стихотворения. Поэма/Сост. и послеслов. С. Ярославцевой.— М.: Сов. Россия, 1984.— 160 с.— (Подвиг):

Семен Гудзенко (1922—1953) — один из талантливых поэтов того поколения, для которого Великая Отечественная война стала школой мужества и творчества. В стихотворениях поэта запечатлен этот трудный путь: испытания войны и радость наступления, победа иозвращение к мирному труду. В сборник, помимо поэмы «Дальний гарнизон», включены известные стихотворения поэта «Перед атакой», «Я был пехотой в поле чистом...», «Мое поколение», «Мы не от старости умрем...» и другие.

Г 4702010200—220 188—84
М-105(03)84

СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Прожили двадцать лет.
Но за год войны
мы видели кровь
и видели смерть —
просто,
как видят сны.
Я все это в памяти сберегу:
и первую смерть на войне,
и первую ночь,
когда на снегу
мы спали спина к спине.
Я сына
верно дружить научу,—
и пусть
не придется ему воевать,
он будет с другом
плечо к плечу,
как мы,
по земле шагать.
Он будет знать:
последний сухарь
делится на двоих.
...Московская осень,
смоленский январь.
Нет многих уже в живых.

Ветром походов,
ветром весны
снова апрель налился.
Стали на время
большой войны
мужественней сердца,
руки крепче,
весомей слова.
И многое стало ясней.

...А ты
по-прежнему неправа —
я все-таки стал нежней.

Апрель 1942

ПЕРВАЯ СМЕРТЬ

Ты знаешь,
есть в нашей солдатской судьбе
первая смерть
однокашника, друга...

Мы ждали разведчиков в жаркой избе,
молчали
и трубку курили по кругу.
Картошка дымилась в большом чугуне.
Я трубку набил
и подал соседу.

Ты знаешь,
есть заповедь на войне:
дождаться разведку
и вместе обедать.

«Ну, как там ребята?..» —
Придут ли назад?.. —
каждый из нас повторял эту фразу.

Вошел он.

Сержанту подал автомат.

«Сережка убит...

В голову...

Сразу...»

И если ты

на фронте дружил,
поймешь эту правду:
я ждал, что войдет он,
такой,

как в лесах Подмосковья жил,
всегда пулеметною лентой обмотан.

Я ждал его утром.

Шумела пурга.

Он должен прийти.

Я сварил концентраты.

Но где-то

в глубоких
смоленских снегах
замерзшее тело
армейского брата.

Ты знаешь,

есть в нашей солдатской судьбе
первая смерть...

Говорили по кругу —
и все об одном,

ничего о себе.

Только о мести,

о мести

за друга.

Апрель 1942

ПУТЬ

Студентам ИФЛИ, однополчанам

Наш путь, как Млечный, —
раскален и долг.

Мы начали в июне,
на заре.

В пыли
с тавром готическим осколок,
в мешке
на двое суток сухарей.

Тяжелый шаг,
как будто пыль дороги
колоят стопудовым колуном.
Я не грустил о доме и пороге,
с любимой не прощался под луной.
Мы были юны.

И мужская дружба
ценилась нами выше всяких благ.
Мы говорили:

«Что нам в жизни нужно?
Устать в дороге,

воду пить из фляг».

Мы с детства не боялись расставанья.
Мальчишки,

окаянней кистеня,
мы полюбили холод расстояний
на оголтелых волжских пристанях.

И с колыбели
родина Россия

была для нас
свободой и судьбой.

Мы ширь степей
в сердцах своих носили

и на заре

пошли за это в бой.

Был путь, как Млечный,—

раскален и долог.

Упрямо выл над соснами металл.

Обветренный,

прокуренный филолог
военную науку постигал.

Он становился старше и спокойней
и чаще письма матери писал.

Мы говорили:

«Отбушуют войны.

Мы по-другому взглянем в небеса.

Сильней полюбим

и сильней подружим.

Наш путь, как Млечный,

вечно раскален.

Нам дня не жить

без битвы и оружия,

и будет порох

словом заменен».

Май 1942

ПЕРЕД АТАКОЙ

Когда на смерть идут — поют,
а перед этим —

можно плакать.

Ведь самый страшный час в бою —
час ожидания атаки.

Снег минами изрыт вокруг
и почернел от пыли минной.

Разрыв.

И умирает друг.

И, значит, смерть проходит мимо.
Сейчас настанет мой черед.
За мной одним
идет охота.

Будь проклят
сорок первый год.
и вмерзшая в снега пехота.
Мне кажется, что я магнит,
что я притягиваю мины.
Разрыв.

И лейтенант хрипит.
И смерть опять проходит мимо.
Но мы уже
не в силах ждать.

И нас ведет через траншеи
окоченевшая вражда,
штыком дырявящая шеи.
Был бой короткий.

А потом
глушили водку ледянную,
и выковыривал ножом
из-под ногтей
я кровь чужую.

Октябрь 1942

ПОДРЫВНИК

К рассвету точки засекут,
а днем начнется наступленье.
Но есть стратегия секунд,
и есть секундные сраженья.
И то,
что может сделать он
и тол
(пятнадцать килограммов),

не в силах целый батальон.
пусть даже смелых
и упрямых.

Он в риске понимает толк.
Уверенно,

с лихим упорством
вступает он в единоборство
с полком.

И разбивает полк.
И рассыпаются мосты.
И падают в густые травы,
обламывая кусты,
на фронт идущие составы.

И в рельсах, согнутых улиткой,
отражена его улыбка.

Октябрь 1942

* * *

...И наступило к вечеру затишье.
Поземка пепелище замела.
Ослепло небо от ракетных вспышек.
Лежали на окраине села
бойцов полусожженные тела.

Однополчан узнал я в черных трупах.
Глаза родные выжег едкий дым.
И на губах, обветренных и грубых,
кровь запеклась покровом ледяным.

Мы на краю разбитого селенья
товарищей погибших погребли.
Последний заступ каменной земли —
и весь отряд рванулся в наступленье.

**Испуганно ударил миномет...
Но разве можно устоять пред нами?
Нам души жжет пожара пламя,
глаза сожженных нас зовут вперед.**

*Хлуднево
Декабрь 1942*

НЕБЕСА

**Такое небо!
Из окна
посмогришь черными глазами,
и выест их голубизна
и переполнит небесами.**

**Отвыкнуть можно от небес,
глядеть с проклятьем
и опаской,
чтоб вовремя укрыться в лес
и не погибнуть под фугаской.**

**И можно месяц,
можно два
под визг сирен на землю падать
и слушать,
как шумит трава
и стонет под свинцовым градом.**

**Я ко всему привыкнуть смог,
но только не лежать часами.
...И у расстрелянных дорог
опять любуюсь небесами.**

1942

КОСТРЫ

Двести шагов до немецких окопов,
до рукопашной —
подать рукой.

А между нами —
ничьи сугробы,
и мертвцы,
и ничей покой.

Здесь,
на переднем,
любят мужчины
поговорить о тепле у костра.

Горсточка мха
да десяток лучинок —
это ночлег
и рассказ до утра.

В деле таком
ни к чему топоры.
Финским ножом лучины наколоты.
Песни вполголоса —
наши костры.

С песнями душу не сводит от холода.

Нам по России пройти довелось
всеми дорогами лютой беды.
Пепел костров
и пепел волос —
это солдатских кочевий следы.

Январь 1943

БАЛЛАДА О ДОМЕ

Запомнил он себя таким:
все было мальчику босому
здесь непонятным
и родным —
голубоватый,
невесомый,
над крышами повисший дым,
и сад,
закутанный в солому,
и льдинки
у отца в усах.

Он больше года не был дома,
и вот спять в родных краях.

(Румын разбив на правом фланге,
мы фронт прорвали у высот.
Под боевым, гвардейским флагом
дивизия пошла вперед.
Но немцы, выставив заслоны,
нас удержали у реки.
И дан приказ по батальонам:
залечь и отомкнуть штыки.
И дан приказ: построить здесь
землянки — бревна в три наката.)

...Но если у солдата есть
за десять верст отсюда хата,
где все чуланы
и углы
ему молитvenno известны,
где к праздникам
скребли полы,
где люди
неразлучны с песней,—
не станет никогда родным

ему передний край, не станет.
Его голубоватый дым
вперед
сильней приказа
тянет.

Его голубоватый дым
тревожит днем
и ночью будит.

Не будет никогда родным
ему передний край.

Не будет!

(Нам тоже было трудно ждать
и рыть просторные землянки.
Нам тоже было больно знать,
что в землю закопали танки.
Но так, как он, никто не ждал
начала яростной атаки.)

...Упала красная звезда,
рванулись из укрытий танки.
И он рванулся
по родной
земле,

знакомой с малолетства.

Пошел под пули,
как святой,
как завороженный.

О детство!

О дым,
как небо, голубой!

О дом,—
отцовское наследство!

(С утра отчаянно мело.

По горло ветер, снег по плечи.

Был трудный день. Был тихий вечер.

Наш батальон вошел в село.

Кто знает этот миг? Безлюдье;

потрескивая, сад горит.
У опрокинутых орудий
лежат чужие пушкари.)
...А он, неистовый и шалый,
горланя песню на бегу,
вдруг,

будто раненный,
устало

стал на колени
на снегу.

Здесь было все ему родным.
И сразу стало
все понятным:

и голубой
бездомный дым,
и красные на белом пятна.

Мы дальше шли,
но он берег,
как завещанье,
невесомый
жилья сожженного дымок —
последнее дыханье дома.

Февраль 1943

БАЛЛАДА О ДРУЖБЕ

Так
в блиндаже хранят уют
коптилки керосиновой.
Так
дыхание берегут,
когда ползут сквозь минный вой.

Так

раненые кровь хранят,
руками сжав культишки ног.

...Был друг хороший у меня,
и дружбу молча я берег.
И дружбы не было нежней.
Пускай мой след

в снегах простыл —
среди запутанных лыжней
мою

всегда он находил.

Он возвращался по ночам...
Услышав скрип его сапог,
я знал —

от стужи он продрог
или

от пота он промок.
Мы нашу дружбу

берегли,
как пехотинцы берегут
метр

окровавленной земли,
когда его в боях берут.
Но стал

и в нашем дележе
сна

и консервов на двоих
вопрос:

кому из нас двоих
остаться на войне в живых?
И он опять напомнил мне,
что ждет его в Тюмени сын.
Ну, что скажу?

Ведь на войне
я в первый раз
побрил усы.

И, видно,
жизнь ему вдвойне
дороже и нужней,
чем мне.

Час
дал на сборы
капитан.

Не малый срок,
не милый срок...

Я совестью себя пытал:
решил,
что дружбу зря берег.
Мне дьявольски хотелось жить,—
пусть даже врозь,
пусть не дружить.

Ну, хорошо,
пусть мне идти,
пусть он останется в живых.

Поделит
с кем-нибудь пути,
и хлеб,
и дружбу
на двоих.

И я шагнул через порог...

Но было мне не суждено
погибнуть в переделке этой.
Твердя проклятие одно,
приполз я на КП к рассвету.
В землянке

рассказали мне,
что по моей лыжне ушел он.
Так это он
всю ночь
в огне
глушил их исступленно толом!

Так это он
из-за бугра
был наповал из автомата!
Так это он
из всех наград
избрал одну —
любовь солдата!

Он не вернулся.
Мне в живых
считаясь,
числиться по спискам.
Но с кем я буду на двоих
делить судьбу
с армейским риском?

Не зря мы дружбу берегли,
как пехотинцы берегут
метр
окровавленной земли,
когда ее в боях берут.

Март 1943

ПАМЯТЬ

Был мороз.
Не измеришь по Цельсию.
Плюнь — замерзнет.
Такой мороз.
Было поле с безмолвными рельсами,
позабывшими стук колес.
Были стрелки
совсем незрячие —
ни зеленых,
ни красных огней.

Были щи ледяные.
Горячие

были схватки
за пять этих дней.

Каждый помнит по-своему, иначе,
и Сухиничи, и Думиничи,
и лесную тропу на Людиново —
обожженное, нелюдимое.

Пусть кому-нибудь кажется мелочью,
но товарищ мой до сих пор
помнит только узоры беличьи
и в березе забытый топор.

Вот и мне:

не деревни сгоревшие,
не поход по чужим следам,
а запомнились онемевшие
рельсы.

Кажется, навсегда...

Апрель 1943

ПИСЬМО С ВОЛГИ

Я бы мог от правила отступить
и тебе написать обо всем:
о солдате, засыпанном солью в степи,
о подвале, где мы живем.
Мне не хочется письма отсюда строчить
(лишь бы знал я,
что ты жива).

Здесь нужны, как гвозди и кирпичи,
все известные мне слова.

За два года столько ран запеклось
(маме этого не пиши).

Я теперь,
как бинты,
отдираю злость

со своей беззаботной души.

Продолжается битва
в дыму и пальбе.

Можешь мертвым в сражении лечь,
но не смеешь

ни строчки оставить себе,
ни удара сердца сберечь.

Потому что здесь песни нужны — как

жилье,

и стихи — как колодцы с водой.

Ты простишь мне,

конечно,

молчанье мое,
как прощала — с передовой.

Сталинград
Май — июль 1943

ГАРМОНИКА

Забудешь все:
и окружение,
и тиф,
и мерзлую ботву.

Но после третьего ранения
на сутки вырвешься в Москву —
и сызнова тебе припомнится:
под Витебском
осенний шлях,

в густом орешнике покойница
с водою дождевой в глазах.
Ты заскучаешь в тихом домике,
не попрощавшись, улетишь.
И все из-за губной гармоники.
(Играл под окнами малыш.)

И вспомнилось:

старухи плакали,
когда тебя
(«Сынок! Родной!..»)
вели расстреливать каратели
под смех
гармоники губной.

Ноябрь 1943

КИЕВ

У нас окопное терпенье —
мы все смогли перетерпеть.

И осень звонкую, как медь,
и город в зарослях сирени,
оставив на краю земли,
за разбомбленной переправой,
в плену, за проволокой ржавой,
с боями на восток ушли.

Но и в сугробах Подмосковья
и в топях белорусских рек
был Киев первою любовью,
незабываемой вовек.

И во сто крат
я был влюбленней
там,
в сталинградском далеке,

...Царапина на старом клене,
казалось —

на моей руке.

Повешенный —

был кровным братом,
расстрелянный —

родным отцом.

Был путь один:

прийти солдатом
и двери отворить штыком.

Я по дорогам и сугробам
шел ночью, не смыкая глаз.
Я клялся верностью до гроба.
(Без гроба хоронили нас!)

Мы снова в Киеве,
дождями
промытое до голубизны.
И кажется,
каштаны с нами
весенние пришли с войны.

...У нас окопное терпенье —
мы все смогли перетерпеть:
и отступление, и смерть,—
чтоб снова

в зарослях сирени
с утра малиновкам звенеть,
чтоб снова

молодым влюбленным
у тополя рассвет встречать,
чтоб киевлянам запыленным
из Киева
писала мать.

Апрель — июль 1944

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Я возвратился в отчий дом.
Здесь все исхожено вдвоем,
и на песке следы твои.
И под распахнутым окном
поют, как прежде, соловьи.

Здесь пригород до самых крыш
черемухой набит.
И по ночам,
когда ты спишь,
уходят звезды из орбит
и падают в песок.

Я возвратился в отчий дом.
На вишнях каменеет сок,
цветет уже четвертый день
махровая сирень.
И у поваленной сосны
на все лады грачи галдят.

В родном краю
приход весны
встречает отпускной солдат.

...Сегодня расцветет жасмин —
твои любимые цветы.
Я ночь прожду,
чтоб принести
тебе к утру букет.

Проходит ночь.
Но я один.
От грусти и от духоты
мне кажется, что сада нет,
что я опять в пути.

Опять один...
Четвертый год!
В какие ты ушла края?
Кто скажет мне,
когда придет
и где живет
(если жива)
любимая моя?

...Молчит охрипший соловей
и онемевшая листва.

Так для кого ломать жасмин?
Кого ночами ждать в саду?
Так для кого искать звезду,
упавшую в песок?

Хоть отпуску не вышел срок,
я возвращаюсь на войну,
в окопный,
неуютный дом.
И третью встречу я весну
в атаке за Днестром.

Июль 1944

ВТОРАЯ АТАКА

Будь то конный,
будь то пеший —
валит всех орудийный шквал.
Возле города
Будапешта

я в атаке
опять побывал.
В декабре
в сорок четвертом
на венгерский
растаявший снег
окровавленным
или мертвым
не желает
упасть человек.
Не желаю!
Не желаю!
Пулям кланяюсь,
но бегу.
Разрывается
мина злая
черным веером
на снегу.
Разлетаются
серые комья.
Но пехоте уже не до них...
Я теперь
ничего не помню
после лютых атак
штыковых.
И сегодня
после отбоя
я в чужом блиндаже
захрапел.
Я был очень
доволен собою —
и во сне
даже плакал и пел.
Мне приснилось:
гремят оркестры,

я в Москву

возвратился весной —
пьют друзья,
и моя невеста
неразлучна опять
со мной.

Не будите меня!

Не надо!
Пусть продлится,
хотя бы во сне,
встреча с той,
за кого прикладом
и штыком
молюсь на войне.

Венгрия

Январь 1945

ПОСЛЕСЛОВИЕ 1945 ГОДА

Случайные попутчики!

Опять
мы встретились на фронтовой дороге.
Нам снова, вспоминая отчий дом,
упрашивать водителей упрямых
и на попутных по свету кружить,
венгерскую равнину проклиная,—
там только ветер, мерзлые снопы,
неубранные тыквы как снаряды,
и памятники гордым королям
с короткими чугунными мечами
на сытых и ленивых битюгах.

Но вот привал.

Мы спим на сеновалах
и во дворцах на бархатных подушках.

Где нет воды —
умоемся духами,
а радиаторы
заправим ромом.

И снова в путь.

Гони, шофер, гони!
Который день мы не путем Колумба,
но, открывая новые державы,
идем вперед до новых рубежей.
И снова повторяются атаки,
бомбажки, оборона, медсанбаты
и поиски разведчиков в ночи.
Огромный город мы берем подомно
и даже поквартирно.

На перилах
висит чужой и мертвый пулеметчик,
а пулемет дымится на полу.
Все повторимо. На шоссе под Веной
в крови багровой коченеют кони,
огромные, как рыжие холмы.
В парламенте — шинели и знамена
немецкого ударного отряда.
И пленные еще в горячке боя
ругаются, потеют и дрожат.
Мы не туристами идем по Вене —
не до музесев нам,
не до экскурсий.
И мы не музыкантская команда.
Мы просто пехотинцы.

Но Бетховен
от нашей роты получил венки.
Случайные попутчики!

Опять
мы встретились на фронтовой дороге.
Нам снова, вспоминая отчий дом,
упрашивать водителей упрямых

и на попутных по свету кружить,
из дальнего похода возвращаясь.
Случайные попутчики!

Солдаты
передних линий, первых эшелонов!
Закончилась вторая мировая.
Нас дома ждут!

Гони, шофер, гони!

*Будапешт — Вена
1945*

ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Над нами тысячи стрижат,
как оголтелые, визжат.

Как угорелые, стремглав
весь день бросаются стрижи
в заброшенные блиндажи,
в зеленую прохладу трав.
Они купаются в росе,
они росой опьянены.

По Кишиневскому шоссе
мы возвращаемся с войны.
Вокруг трава до самых плеч,
такая,
что нельзя не лечь.
Вода в ручьях на всем пути —
пригубишь
и не отойти.

И по заказу старшины
то солнцепек, то ветерок.
Мы — из Европы.

Мы с войны
идем с победой на восток.
...Как сорок первый год далек!

Бессарабия
Июнь 1945

МОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели.
Мы пред нашим комбатом, как пред господом богом,
чисты.

На живых порыжели от крови и глины шинели,
на могилах у мертвых расцвели голубые цветы.

Расцвели и опали... Проходит четвертая осень.
Наши матери плачут, и ровесницы молча грустят.
Мы не знали любви, не изведали счастья ремесел,
нам досталась на долю нелегкая участь солдат.

У погодков моих ни стихов, ни любви, ни покоя —
только сила и зависть. А когда возвратимся с войны,
все долюбим сполна и напишем, ровесник, такое,
что отцами-солдатами будут гордиться сыны.

Ну, а кто не вернется? Кому долюбить не придется?
Ну, а кто в сорок первом первою пулей сражен?
Зарыдает ровесница, мать на пороге забывается,—
у погодков моих ни стихов, ни покоя, ни жен.

Кто вернется — долюбит? Нет! Сердца на это не хватит,
и не надо погибшим, чтоб живые любили за них.
Нет мужчины в семье — нет детей, нет хозяина в хате.
Разве горю такому помогут рыданья живых?

Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели.
Кто в атаку ходил, кто делился последним куском,
тот поймет эту правду,— она к нам в окопы и щели
приходила поспорить ворчливым, охрипшим баском.

Пусть живые запомнят, и пусть поколения знают
эту взятую с боем суровую правду солдат.

И твои костили, и смертельная рана сквозная,
и могилы над Волгой, где тысячи юных лежат,—

это наша судьба, это с ней мы ругались и пели,
подымались в атаку и рвали над Бугом мосты.

...Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели.
Мы пред нашей Россией и в трудное время чисты.

А когда мы вернемся,— а мы возвратимся с победой,
все, как черти, упрямые, как люди, живучи и злы,—
пусть нам пива наварят и мяса наожарят к обеду,
чтоб на ножках дубовых повсюду ломились столы.

Мы поклонимся в ноги родным исстрадавшимся людям,
матерей расцелуем и подруг, что дождались, любя.
Вот когда мы вернемся и победу штыками дебудем —
все долюбим, ровесник, и ремесла найдем для себя.

1945

* * *

Я был пехотой в поле чистом,
в грязи окопной и в огне.

Я стал армейским журналистом
в последний год на той войне.

Но если снова воевать...

Таков уже закон:

пускай меня пошлют опять
в стрелковый батальон.
Быть под началом у старшин
хотя бы треть пути,
потом могу я с тех вершин
в поэзию сойти.

Август 1945

СКАЗКА С БЫЛЮ

1

Сказка с былью пополам
ходит-бродит по полям.
Ходит-бродит сказка с былью,
правда с выдумкой святой.

На дороге каска с пылью
или с дождевой водой.
Каска здесь,
а голова
под плитой могильной.

Кровью крашена трава
у дороги пыльной.
За дорогою леса
и убитых голоса.

Голоса друзей убитых,
не забытых в том краю,
где дают за двух небитых
одного, что пал в бою.

Я туда на пару суток
из санбата,
в забытьи,

кровь теряя
и рассудок,
спутав сроки и пути,
провалился...
Две сиделки
плакали надо мной.
«Не осенний, мелкий
дождичек»,—
пели бабы за стеной.

Я с постели падал в тину.
(Раскалился пот на лбу.)
Мир карболочный, простынnyй,
госпитальную судьбу
проклинал я, еле
губами шевеля.

...Надо мною люди пели,
но меня звала земля.

2

Там в канавах и могилах,
в землях наших и чужих,
нежно вспоминают милых
и не ропщут на живых.

Там под камнем или дерном,
словно в блиндаже просторном,
в тишине сырой земли,
как на нарах,
полднем черным
хлопцы повести плели
про последний или первый
поцелуй или бой.

...Там мы встретились с тобой.

Говорить о многом надо —
 приготовил столько слов,
 сколько градинок у града,
 сколько в мире соловьев,
 сколько звезд на небосводе
 и росинок на лугу,
 сколько смеха в хороводе,
 блесток в солнечном снегу.

Говорить бы нам о деле,
 как над нами,
 на земле,
 матери поседели,
 девушки похудели,
 потому что мы во мгле.

Не об этом, не об этом
 говорили мы с тобой.
 Был я снова не поэтом,
 а как прежде —
 рядовой.

И мечтали мы о чуде,
 чтобы люди жили так:
 ни тебе стальных орудий,
 ни тебе шальных атак,

 ни тебе глухих раздоров,
 разговоров о тоске,
 в дружбе никаких заборов,
 пули ни в одном виске.

Люди на земле хорошие,
 разные.

И любят тоже разное:
кто заката пламя красное,
кто рассветы ясные,
кто пески,
кто льды голубоватые.

И они не виноваты
в том,

что в поле, толом перепаханном,
мы лежим под Брестом и Аахеном,
в том,

что в глину, почерневшую от крови,
мы с тобой зарыты в Приднепровье.
Нет, они не виноваты.

Если суждено мне путь солдата
начинать с атаки —

не с парада,
я опять до смерти буду драться.
Переубеждать меня не надо!

Вот и все...

А бабы надо мной
затянули:

«Не осенний, мелкий дождичек», —
будто хлынул проливной.

4

...Я очнулся на постели.
Санитарки
выносить меня хотели.
В старом парке,
за бараками,
в овраге —
там могилы,

Нет!
Шалите, девки!
Враки!
Есть у раненого силы.
Я очнулся,
чтобы люди
знали на планете
сказку с былью,
чтоб ее читали дети,
старики любили.

Будет легче жить на свете,
если знаешь, что в могилах,
в землях наших и чужих,
нежно вспоминают милых
и не ропщут на живых!

5

Здесь кончается сказка,
здесь кончается быль.
...Я споткнулся о каску.
Поднял.
Вытряхнул пыль,

И принес ее в дом.
Вымыл чистой водой,
вытер белым платком
каску с красной звездой.

Жить ей в красном углу,
на точеном настиле,
потому что ее
мои други носили.

Далеко мои други —
под бархатным дерном

спят в шинелях пуховых
на нарах дубовых,
как в доме просторном...

Москва
1946

* * *

Было всякое...
И будет тоже всякое!
Если в это верить перестану,
я тогда, как трус перед атакою,
поклонюсь нагану.

Пусть отдаст для лба горячего
все, что он имеет в барабане.
Я его, немого и незрячего,
как щенка, таскал в кармане,

морду вороненую холодную
пальцами колючими сжимая,
в летную погоду и нелетную
смерть у переправы ожидая.

Было всякое...
Бросали врукопашную
пыльные потрепанные роты.
Забывали молодость вчерашнюю
под огнем мортиры криворотой.

Рыли после каждого сражения
ямины просторные, простые.
Отводили нас на пополнение
в хутора сожженные, пустые.

Твердые и колкие, как кремни,
звезды надо мной не потухали.
Я мечтал тогда о тихом времени,
оглашенном только петухами.

И настала тиши...
К чему же всякое
снится мне армейское, родное,
снится мне, как мир перед атакою,
как в походе стойбище степное.

Ничего, что нам из-под обстрела,
может, никогда не уходить.
Мы с тобой без подвига, без дела,
без тревоги не сумеем жить!

Будет всякое!
Конечно, будет всякое.
Наша жизнь —
всегда перед атакою!

1946

* * *

Я в гарнизонном клубе за Карпатами
читал об отступлении, читал
о том, как над убитыми солдатами
не ангел смерти, а комбат рыдал.

И слушали меня, как только слушают
друг друга люди взвода одного.
И я почувствовал, как между душами
сверкнула искра слова мосго.

У каждого поэта есть провинция.
Она ему ошибки и грехи,
все мелкие обиды и провинности
прощает за правдивые стихи.

И у меня есть тоже неизменная,
на карту не внесенная, одна,
суровая моя и откровенная,
далекая провинция —

Война...

1947

ГОД РОЖДЕНИЯ

Я родился даже не в двадцатом.
Только по стихам да по плакатам
знаю, как заваривалась жизнь.
Знаю по словам киноэкранов,
знаю по рассказам ветеранов
первые шаги в социализм.

Нет,

не довелось мне с эскадроном
по лесным,
по горным,

по гудронным,
по степным дорогам кочевать.

...Я родился даже не в двадцатом,
и в гражданскую одним солдатом
меньше полагается считать.

Но зато, когда в сорок четвертом
стреляным,

простреленным
и гордым
вышел полк на горный перевал,

немцы, побратавшиеся с чертом,
сразу позавидовали мертвым,
ну, а я забыл, что горевал
о своем рожденье с опозданьем,
что не смог в семнадцатом году
рухнуть ночью на гудящем льду,
выполнив особое заданье.

Полк идет.

Костер у каждой тропки
озаряет пропасти и лес.
Огонек мигающий и робкий
заревел и вырос до небес —
это осветили закарпатцы
в каменных ущелиях проход.

...Был тогда сорок четвертый год.
До конца еще полгода драться.
Но на миг мы ощутили все
мир в его невиданной красе.
В Рахове шумела детвора,
в Хусте пели песни до утра,
в Мукачеве

заседала власть,—
в этот миг свобода родилась,
как у нас в семнадцатом году!

Полк уже по Венгрии идет.
И готов я на дунайском льду
рухнуть ночью,
выполнив заданье.

И мой сын,

услышав обо мне,
погрустит в тревожной тишине,
что родился тоже с опозданьем.

1947

У ОДНОПОЛЧАН

Тишина осенняя в далеком,
милом гарнизонном городке,
где стрижи

без устали

вдоль окон
ловят свои тени на песке,
где с дерев —

орешин и урючин —
каждый лист достоин лечь в альбом,
а не будь арык таким живучим,
пыль стояла б лёссовым столбом.

Тишина полдневная.

И странно,
даже на плацу, где «вечный бой»,
не слыхать трубы и барабана,
не видать людей на огневой.

— Где же полк? — дежурного майора
спрашиваю в штабе, как всегда.

— Вышел в поле.

— Ждете?

— Нет, не скоро.

— Как же быть?

— А двигайтесь туда...

Вещмешок я за спину и ходко,
большаком укатанным пыля,
двинулся с волненьем первогодка
в полк родной, на ближние поля.

Получив особое заданье,
что всегда пехоте по душе,
в выгоревшем обмундированье
он стоял на главном рубеже.

Хлопок прошлой осенью был славный,
но, гражданский выполняя долг,
не для хлопка на рубеж свой главный
передислоцируется полк.

Он в песке летучем, как в тумане,
то ложился, то вставал опять,
постигая с искренним стараньем
трудную «науку побеждать».

Я иду, на мельника похожий,—
пыль и зной! — а вот шагать не лень.
— Эй,— кричат мне, — гвардии прохожий!
Можешь заработать трудодень!
— Что же, я не против.
Где лопата?
— Окопаться сможешь?
— Не забыл!

...Не забыл всего, чему когда-то
старшина дотошный обучил.

От арыков тень ползет сырая,
как от переправы фронтовой,
и стрижи, в потемках фигурияя,
на аэродром уходят свой.
Тишина.

И вдоль дороги хлопок,
как сугробы под Вертушино,
где полку в завьюженных окопах
право на бессмертие дано.

Сентябрь — октябрь 1950

О ПЕХОТЕ

1

Пехота, как чугун в опоке,
в нагретых добела песках
спит на свирепом солнцепеке
с мешком и скаткой в головах.

Она не сетует на климат
и вот уже который год,
светилом варварски палима,
как жить положено, живет.

По воскресеньям ходит в город —
на полустанок в три избы,
сухим хранит бездымный порох,
работает без похвальбы.

И политы обильным потом
бугры седлистые вдали,
где ею лично отработан
«неравный бой за пядь земли»,

где шелестит у стен ружпарка
зеленый новобранец — клен,
где, как в горячем цехе, жарко
и день предельно уплотнен.

...Пехота знает, что в победе
с бездельем ей не по пути,—
ей через все на белом свете
придется трудности пройти.

**Бывало, за два перехода
все карты спутавши врагу,
в изнеможении пехота
ложилась строем на снегу.**

**И, даже лыж не сняв, с разбега
в дремучий и недолгий сон,
откинув белый полог снега,
проваливался батальон.**

**Мелькали мимо сосны, ели,
в намегах пышных пни, кусты,
и звезды отмерцав, летели
с почти отвесной высоты.**

**Спала пехота беспробудно
(она любила впрок поспать),
и дальнобойным было трудно
пехоту с лежбища поднять.**

**Но, встав на зорьке по тревоге,
бодра,
безропотна,
свежа,
опять была весь день в дороге —
от рубежа до рубежа.**

**И, поспевая всюду к сроку
(входя за танками в прорыв),
опять в снегу спала, под щеку
кулак пудовый положив.**

**...Не потому ль, что за плечами
большой войны безмерный путь,**

шагать сыпучими песками
сегодня легче ей чуть-чуть?

1951

КАТЮША

Дочка у меня. Такая милая,
милая, как дети всей земли.
Землю полюбил я с новой силою,
новые мечты ко мне пришли.

Пусть же наши беды, наши трудности
будут для нее уже не в счет.
От грудного возраста до юности
сколько рек в пустыню потечет,
и ее ровесники зеленые,
из гнезда вспорхнувшие дубки,
выпестуют степь засолоненную,
выходят зыбучие пески.

Пусть же в каракумское безбрежие,
где и мне пришлось топтать песок,
с Каспия ветра ударят свежие,
из Амудары свернет поток,
чтоб на зорьке девочка не смелая
собирала дивной красоты,
не от пота, не от соли белые,
не от крови красные цветы...

Дочку я свою назвал Катюшою
(это имя приберег с войны),
помня, как над реками, над сушью
были небеса опалены.

Вот она, еще не зная многоного,
с полуслова понимает мать,
и посменно бабки нрава строгого
возят на бульвар ее гулять.

Скоро встанет на ноги и первые
в будущее сделает шаги.
Как боятся этого, наверное,
наши с нею общие враги!

И сегодня злой не потому ль они,
что с ее рожденьем я сильней,
что меня ни засухой, ни пулями
разлучить они не могут с ней —
с беззащитной, крохотною, милою,
без которой свет уже не мил,
для кого грядущее планирую,
для кого отстаиваю мир.

И она пытливо, с удивлением
из коляски смотрит на меня —
наше молодое поколение,
от рожденья сто четыре дня.

*Москва
1 мая 1951*

* * *

Я пришел в шинели жестко-серой,
выданной к победному концу,
юный, получивший полной мерой
все, что полагается бойцу.

Для меня весна постлала травы,
опушила зеленью сады,

но опять из-за военной травмы
побывал я на краю беды.

Сон мой был то беспробудно жуток,
то был чутче гаснущей свечи,
жизнь мою спасали много суток
в белом, как десантники, врачи.

На Большую землю выносили
сквозь больницы глушь и белизну,
словно по завьюженной России,
первой зимой, в ту войну.

Смерть, как и тогда, стояла рядом.
Стыл вокруг пустынный черствый снег.
Кто-то тихо бредил Сталинградом,
звал бойцов, просился на ночлег.

Все мои соседи по палате,
в белоснежных, девственных бинтах,
были и в десанте, и в блокаде,
и в других неласковых местах.

Мы врага такого одолели —
никому б его не одолеть,
на войне ни разу не болели,
а теперь случилось заболеть.

Наша воля делалась железней
с каждой новой битвой, с каждым днем.
Есть еще силенки,
и болезни
тоже одолеем и сомнем.

Я угрюмо зубы сжал до хруста,
приказал себе перетерпеть.

Незачем, пожалуй, править труса,
выбор не большой: жизнь или смерть.

Медленно пошел я на поправку,
вытянули жизнь мою врачи,
как весною чахнущую травку
из-под прели добрые лучи.

Вопреки сомненьям маловеров
и наперекор всем, кто не ждал,
как тогда, в шинели жестко-серой,
на ноги я крепнущие встал.

И опять в больничном коридоре
я учусь ходить —
хожу смелей,
всем ходячим недругам на горе —
став и несговорчивей, и злей.

Ждет меня любимая работа,
верные товарищи, семья.
До чего мне жить теперь охота,
будто вновь с войны вернулся я.

Март 1952

ДАЛЬНИЙ
ГАРНИЗОН

ПОЭМА

Глава первая

ПОДВИГ РЯДОВОГО

Красных кровель черепица.
Венский пригород в дыму.

...Приказали зацепиться
пехотинцу одному,
приказали подобраться
к амбразуре угловой,
приказали постараться
возвратиться с головой.

Приказали.
И дорога,
что по карте пролегла,
стала улочкой пологой
от угла и до угла,—
не с дворцами, где в коронах
львы и туры на гербах,
а рябая от воронок,
в навзничь рухнувших столбах,
в нефти радужных накрапах,
в битом намелко стекле,—
но идущая на запад,
к жизни,
к миру на земле!

Вот по ней-то, выполняя,
как положено, приказ,
мимо взбухшего Дуная,
не сводя с брускатки глаз,
на локтях да на коленях,
мимо вражьих мертвцевов,
в самом главном направленье
полз Василий Горобцов.

* * *

Что сказал перед уходом
другу лучшему солдат?
Попрощался ли со взводом?
Попрощался, говорят.

И сказал:
— Беда случится,
все бывает на войне,
жаль, не вышло поучиться
в офицерской школе мне!
А хотелось, чтоб пошире
стал, ребята, горизонт!
Ох, сдается мне, что в мире
не последний это фронт.
...Я все годы коммунистом
на переднем состою:
принимали в поле чистом
под Орлом еще в бою,
так что если молодую
жизнь огнем пересекут,
так что если упаду я
через несколько секунд,—
попрошу, как прежде, числить
здесь, на линии огня.
Вот какие нынче мысли
потревожили меня.

И ответили солдаты:
— Не прощаемся с тобой!
От твоей, земляк, гранаты
дот обвалится любой!

И еще сказали:
— Что же?..
Все бывает на войне...

**И на мертвый город строже
посмотрели в тишине.**

* * *

**...И ползет по мостовой он
к доту, что вмуроан в дом.
Видит только угловой он
дом на перекрестке том,
где кладбищенской ограды
обрывается гранит,
где из дота, из засады,
без умолку говорит
пулеметчик, что ни шагу
нашим сделать не дает.**

**На твою, земляк, отвагу
положился первый взвод!
Ожидает он, когда ты
чертов дот угомонишь!
(На часы глядят солдаты —
фосфорятся циферблаты
в темноте глубоких ниш.)**

За кладбищенской оградой
клены,
вязы,
тополя.

За кладбищенской оградой
вся эсэсовская тля
в мертвом виде.

Но вот эти
трое смертников живут!
Им сегодня на рассвете
дан приказ держаться тут,
возле каменного склепа,
где над пыльною плитой
так не к месту, так нелепо
жмется ангел золотой.

Легких крыльев
взмах тревожный,—
понимает херувим,
что пора, пока возможно,
унестись к брегам иным!

...Мы от Волги и от Дона
шли за Вислу и Дунай,
склонив в земле бездонной
(никогда не забывай!)
сотоварищей веселых
по нелегкому труду,
оставляя в дымных селах
самодельную звезду,
что из ящичной фанеры
вырезается ножом,
что горит в тумане сером
над последним рубежом.

Ну, а здесь гробниц фамильных
пышный мраморный уют —
круглый год горит светильник,
круглый год цветы цветут.
Здесь воздвигла дочь для папы —
группенфюрера —
дворец.

(Обломали папе лапы
под Вапняркой наконец!)

Здесь на каждом пьедестале —
ангел,
лавры,
письмена.

Мы еще их не видали,
здесь еще идет война,
и над всем этим барокко
парниковая жара,
орудийная морока,
нараставшая с утра.

* * *

...И с гранатами в карманах,
с карабином на груди,
в мятой каске,
в брюках рваных,
ватник скинув по пути,
Горобцов тропой неторной,
той, что к подвигу ведет,
продвигается упорно
все вперед,
вперед,
вперед.

О, весеннее кипенье
в сорок пятом на войне!

Дым над сизою сиренью,
плющ на взорванной стене,
запах почек тополевых,
чуть присыпанных золой,
голубей белоголовых
вихрь над стонущей землей!
И с кладбищенской ограды
все сильнее,
 все живей
бьющий дробью из засады
без умолку соловей!

То ли он под оккупантом
кряду восемь лет молчал —
отошел без провианта
и без песни заскучал;
или, позабыв о воле,
думал: «Боле не жилец...»;
то ли вышел из подполья
тот отчаянный певец?!
Только он на всю катушку
дал томительную трель,
заглушая даже пушку,
даже звонкую капель!

И оставили пичуги
враз убежища свои.
И пошли по всей округе
заливаться соловьи!

И в полку, услышав трели
и слезу сдержав с трудом,
пехотинцы вдаль смотрели:
— Потерпи, певец! Идем!

Не случайно пели птицы,
пели рощи и холмы

там, где выходили биться
за свободу мира мы!

Не забуду я, как дети
той весной плели венки
и, встречая на рассвете,
нам бросали на штыки.

...И солдат, услышав пенье,
удивился:
— Ишь, поет!

Приподнялся на колени
и метнул в мордатый дот
полновесную гранату.

Взрыв
и —
каменный обвал!
Помоги, земля, солдату!
Он к тебе, как сын, припал!

И, забывшись на мгновенье,
он следить уже не мог,
как пошли ребята к Вене
через взорванный порог,
мимо обороны смятой,
 знамя вскинув на бегу,
 под ноги постлав проклятый
 флаг со свастикой в кругу.

* * *

Генерал сказал:
— Дать орден!
С дотом справился герой!

Врач звонил:
— Он будет годен.
Через месяц встанет в строй.

Генерал сказал:
— Но в эти
дни закончится война.
Нам на подступах к Победе
ситуация ясна!
И товарищи сказали:
— Жаль, прощаемся с дружком!
Сестры вмиг перевязали,
поспешили за полком.

Полк вошел в прорыв.
(Пехота
шла за танками в прорыв.)

Горобцов сказал:
— Охота
быть с полком, поскольку жив!
Я в боях с ним все четыре,
все четыре года был!
Мы сражались, чтобы в мире
мир желанный наступил!

...И над миром в ту минуту
грянул гром из синевы
чистым звуком салюта
торжествующей Москвы.

И приветливые люди,
что пришли издалека,
узнавали в том салюте
голос своего полка.

— Что-то слышится родное,—
говорил бойцу боец.
— Не случайно, брат, весною
наступил войне конец!

* * *

С первым громом —
с пятой раной
сдали в госпиталь бойца,
поместили в иностранный
древний замок

Горобца.

И под красной черепицей,
в лазаретной белизне
Горобцову стала птица
часто видеться во сне;
а еще о карабине
8206
в лазарете на перине
думал:
«Где теперь он есть?
Где он?

Кто на поле боя,
там, где ранило меня,
взял его,
унес с собою
дальше — к линии огня?»

* * *

...О, весеннее кипенье
в сорок пятом на войне!
Дым над сизою сиренью,
плющ на взорванной стене,

запах почек тополевых,
чуть присыпанных золой,
голубей белоголовых
вихрь над стонущей землей!
И с кладбищенской ограды
все сильнее,
все живей
рассыпающий рулады
в честь Победы
соловей!

...Мы идем по майской Вене,
как на праздничный парад,
и на маршала равненье
держит фронтовой солдат.

И за нашими полками
люд трудящийся идет,
тот, который вместе с нами
«Интернационал» поет.

На дворцовых парапетах,
у дунайских синих вод,
встал под сень знамен воспетых
Австрии простой народ.

...И пошли полки в победный бой, что столько лет вели,— может статься, не последний бой за счастье всей земли.

Глава вторая

ЕДЕТ ОФИЦЕР...

В тридевятый гарнизон с чемоданом книг

из училища служить
едет выпускник.

Под колесный перебор,
мерный перестук,
едет младший лейтенант
с севера на юг...

Третий час уже пески,
без конца — пески!
Точно в море, за кормой
волны высоки.

Точно в море, берегов —
как ты ни гляди —
не найдешь по сторонам,
нет их впереди.

Только дымным островком
промелькнет завод,
подпирая в десять труб
знойный небосвод,
или город вдоль путей
выставит сады —
в белой кипени цветов
яблонек ряды.

И покачивается
воинский вагон.
...И поблескивает там
золото погон.
Не отходит молодой
парень от окна.
Видно, по сердцу ему
жаркая страна.

...Три медали и Звезда —
небольшой набор,
да с казачьим козырьком
головной убор,
да нашиты над Звездой
лычки на груди.

...Парень молод, но боев
много позади.
Парень молод, невысок,
тоненький такой,
все приглашивает чуб
смуглую рукой.

А сосед его —
майор —
кряжист, как пенек,
и поблескивает весь,
с головы до ног:
гладко брита голова
(попрохладней так!),
ни пылинки на ремнях
и на сапогах.
Сразу видно — строевой,
старый кадровик.
Сразу видно, что к жаре
человек привык
и неплохо прослужил
двадцать лет сполна,
раз за выслугу ему
вышли ордена.

Весело ворчит майор:
— Припекает, черт!
Что ты там ни говори,
это не курорт!

Мне в лихих не довелось
побывать делах
и с десантом не пришлось
кочевать в тылах.
А, наверное, пекло
там погорячей?
Здесь, в глухи, погранотряд
время, как ручей.
Здесь, в глухи, погранотряд
всю войну трубил!
...Ты, однако, друг солдат,
что-то загрустил!
Дальше Кушки не пошлют,
меньше взвода не дадут!
Не горюй, младшой!
Не болей душой!

В кружке теплый, как чаек,
привозной портвейн.

— Выпей, младший лейтенант!
Это не трофей.
Это мне отец в Крыму
флягу нацедил.
Нынче ездил я к нему,
отпуск проводил.

Выпили.

— Меня, майор,
незачем жалеть!
Мне, по правде говоря,
хотется запеть!
Я ведь сам сюда просил
предписанье дать.
Думаю, что хватит сил.

Нам не привыкать!
Ну, конечно, здесь не рай.
Правда, и не ад.
Трудный край. Хороший край!

— Значит, вправду рад?!
Значит, появился здесь,
в Азии, не вдруг?

...За окошком в тугаях
птичий перепуг,
над студеною водой
визг и суета
(а вода в Амударье,
как песок, желта).

— Да, ты прав: совсем не рай!
Жаркий дальний юг.
Мы теперь — передний край.
Вам — учиться, друг!
Трудно здесь. Но где трудней —
лучше для солдат.
Азия! У нас о ней
лишнее твердят.

И альбом из вешмешка
вытащил майор:
— В Крым возил издалека.
Думал, выйдет спор.
Думал, что не знают там,
как в песках живут,
как на выжженных местах
яблони цветут,
как арычная вода
в зыбуны идет,
как в пустыне города
строит наш народ.

Казахстан дает прокат,
льет металл Ташкент —
все расскажет в аккурат
фотодокумент!

...Значит, к рубежам страны
едешь, командир?
Вот такие и нужны
для борьбы за мир!

Встал майор, взглянул в упор.
— По-отцовски дай
расцелую за приезд
в наш далекий край!
Мне солдата своего
посылать во мглу
поспокойней — есть ТУРКВО¹
у меня в тылу!
Служит там попутчик мой —
парень боевой!
И такую дружбу, брат,
не разлить водой.
А в песках у нас вода —
жизнь и смерть — вода!
Наша дружба навсегда!
Да, дружище?
— Да.

...Едет младший лейтенант,
ветеран войны,
в тридевятый гарнизон,
к рубежам страны.

И недвижный, как в парной,
воздух раскален.
И нагрет до синевы
чистый небосклон.

¹ ТУРКВО — Туркестанский
округ.

военный

* * *

— Познакомиться пора,
дорогой сосед.

Вместе встретили уже
не один рассвет,
вместе выпили уже
не один стакан.
Ермолаев!

— Горобцов.
Младший лейтенант.

...Мог бы и не говорить
званья Горобцов —
то, что младший лейтенант,
видно и без слов.
Но бывает, промолчать
трудно иногда.
Это надо понимать:
первая звезда,
первый офицерский чин,
золото погон!
...Едет младший лейтенант
в дальний гарнизон.

* * *

Родина!
Твои сыны
жизнь хранят твою.
Испытала их огнем
ты в большом бою.
И над ними, как в бою,
твой гвардейский стяг.
И в песках твои сыны

дома, не в гостях.
И по нраву им всегда
твой передний край!

— Здравствуй, Азия!
— Салам!
— Сына принимай!

Глава третья

В БЕРЛИНСКОМ ПОЛКУ

Вечернею порой
на лагерной поляне
в парадный встали строй
друзья-однополчане.

Оружие бойцам
в нежаркий час заката
вручал комроты сам
и говорил им:
— Свято
беречь его везде —
ваш долг и ваше дело!
Кто первым был в труде —
на фронте дрался смело!

И Зыкову вручен
был карабин комвзвода.
Сказал комроты:
— Он
за все четыре года
не выбит был из рук
комвзвода Горобцова.
С ним повстречался вдруг
здесь лейтенант ваш снова.

Вот — восемь
два
ноль
шесть —

вручаю вам!

Храните!

Для вас большая честь
служить с ним на границе.
Вам лейтенант еще
о нем расскажет много!

И роте:

— На пле-чо! —
скомандовал он строго.

* * *

Шли дни.
Но не влекло
к оружию солдата.
Все видел Головко:
— Что, Зыков, трудновато?
Наверно, снится дождь,
и жарко, брат, и душно?..

И думал:
«Молодежь!
Ей привыкнуть нужно».

Привыкнуть нелегко:
то край, как печка, жарок,
то речка далеко,
то скучноват приварок.

Черкнешь домой —
придет
с гостинцами посылка:

там и цветочный мед —
литровая бутылка.
Перегреешь до дна —
брусок хороший сала.

Дивился старшина:
— Казенных, Зыков, мало?
Сначала так всегда
в харчах, солдат, нехватка:
«и это не еда,
и то тебе не сладко».
Послужишь — и поймешь,
какой в полку приварок!
Ну, до того хорош —
не пища, а подарок!
И сила от него,
скажу тебе, большая!
Посылки — баловство.
Питайся.
Не мешаю...

И думал Головко:
«К жаре этой, конечно,
привыкнуть нелегко,
но кто привык —
навечно!»

...Был Головко бойцом
высокого закала —
не просто храбрецом,
каких в полку немало:
испытанным войной,
сверхсрочником,
служивым,
примерным старшиной —
бывалым, бережливым;

не просто горячо
влюбленным в труд пехотный —
был на войне еще,
с Днепра, парторгом ротным.
Он первый на доске
форсировал преграду.
Он был на волоске
часов двенадцать сряду.
Но честно до конца
держал плацдарм прибрежный.
И выбрали бойца
(был тяжко ранен прежний).

...Не перечислить всех
за долгий зимний вечер
форсированных рек,
ручьев,
речушек,
речек,
где первым —
смел и строг,
на слово скуповатый —
шел фронтовой парторг,
от мины рябоватый.

Шел до Берлина так,
неутомимым шагом,
пока победный стяг
не взвился над рейхстагом.

Тогда штыком парторг
на стенке расписался,
и пыль со скул обтер,
и громко рассмеялся:
— Парили высоко
чертики гитлерята!

Не знали Головко —
советского солдата,
не думали, что он
придет под эти своды!
Нет, хлопцы, то не сон,
то реет стяг Свободы!

...В Берлине алый шелк
сияет и поныне.
А полк?
А полк ушел
и встал в родной пустыне.

И Головко в песках
освоился, как дома.
В горах и кишлаках
все старшине знакомо.
Он говорит:
— Меня
отсюда враг не сдвинет!
У линии огня
я насмерть встал в пустыне.

И старшину опять
секретарем избрали.
— Кого же выбирать? —
товарищи сказали.
— Ты — молодым пример,
ты первым шел в сраженье! —
дополнил офицер
сержанта предложенье.

И вновь, как на Днепре,
вошел он с ходу в дело.
И о секретаре
замначполитотдела
сказал:

— Я узнаю
парторга фронтового!
Он стал, как там, в бою,
душою роты снова.

И, перейдя на «ты»,
сказал ему:
— Надеюсь,
с партийной высоты
сумеешь здесь, гвардеец,
смотреть на все всегда.
Ну что же, секретарствуй!
И не жалей труда
на благо государству!

* * *

И снова старшина
перед бойцами роты
речь говорит:
— Страна
ведет теперь работы
по насаждению рощ,
дубрав, садочков, скверов!..

И Зыков дотемна
над саженцами бился.
Дивился старшина:
— Земляк переродился!

И к Зыкову уже
явилось вдохновенье
не там, на рубеже,
в пыли перед мишенью.
а здесь —

когда кленок,

с утра хлебнув водицы,
встряхнулся, как телок:
вот-вот мелькнут копытца!..

* * *

Деревья по взводам
расписаны приказом.
Положена вода
им на день по два раза.

И зыковский кленок —
солдатский иждивенец —
на полный продпаек
зачислен, как армеец.

Гребут ему к столу
суперфосфат дробленый
и из костров золу,
чтоб рос малец зеленый.

У малого кленка
есть бирка из фанеры
с фамилией стрелка,
чтоб знали для примера.
Он вроде б за отца
кленку тому отныне.
У каждого бойца
есть деревце в пустыне!

И секретарь в свою
послал газету как-то
подробную статью:
фамилии и факты.
Статья была о том,
что дружный труд прекрасен

и что живым кольцом
весь лагерь опоясан;
что встали в караул
у выжженной долины
бесстрашный саксаул
и родич тополиный;
и что растут ряды
зеленого заслона
у каменной гряды
пустынного района.

...На первой полосе
во «Фрунзовце» прочтете
о лесополосе
в одной стрелковой роте.

* * *

Прохладны вечерком
кусты после полива.
И звезды над полком
толкуются молчаливо.

За сопками стоят
палатки полукружьем.
Задумчиво солдат
склонился над оружьем,—
синеет перед ним
пружина на холстине.

— С таким дружком стальным
не пропадешь в пустыне!
Нигде не пропадешь!
Мы были с ним под Веной...

— Хорош-то он хорош,
да я вот не военный!

— Обучитесь!
И я
такой же был сначала:
то «хата не моя»,
то «разбираюсь мало».
А вот пришел с войны
в края эти, поверьте:
другие не нужны
теперь до самой смерти!
В пустыне получил
по полной норме счастье:
учился и учил
и вас учу сейчас я.

Вот здесь, — и Горобцов
обвел простор глазами,—
мой дом,
семья бойцов!
Глядите, Зыков, сами!

И Зыков поглядел,
но сразу у арыков
кустарник поредел —
и ширь увидел Зыков:
пески,
пески
легли до окоема!
И не видать ни зги,
ни деревца,
ни дома.

Не унывай, солдат!
Они до перевала,
а там огни горят
в колхозах вдоль канала,—

поля,
поля,
поля
лежат до окоема!
Богатая земля
под все идет, как дома!
Цветущая, она
садами знаменита,
углей и руд полна,
арыками изрыта,
и хлопка снегопад
укрыл ее, родную.

Не унывай, солдат!
Знакомься с ней вплотную.

Глава четвертая

СОЛОВЬИНАЯ ТРЕВОГА

Молчаливы,
выжжены,
пусты,
подступают к лагерю пески.
Над арыком тальника кусты,
как на Украине, высоки.

Среднеазиатскийоловей —
курскому ровесник и родня —
на исходе солнечного дня
песней упивается своей.

Сыплет на палаточный брезент
серебро с прохладного листа.
Прилетают птицы на концерт —
занимают лучшие места.

И не только птицы —
целый полк
слушают весенний перещелк.

Нарушая лагерный режим,
в час отбоя отгоняя сны,
мы на нарах глиняных лежим
в сопках на окраине страны.

И дневальный не тревожит нас —
той же песней парень увлечен.
Может, миг прошел, а может, час.—
в этот вечер не ответит он.
Клекоту и трелям нет конца.
Каждый миг особенная трель!

...Мать-природа милого певца
нарядила в серую шинель,
в серенькую, жесткого сукна —
в честный и бесхитростный наряд.

Говорят,
что только старшина —
строгий парень —
соловью не рад.

Старшина над высохшим ручьем
проверяет медленно посты.
— Соловью-то, Зыков, нипочем,
что о доме размечтался ты!
Он живет без службы, без забот,
песenkами душу веселя.
Прилетит, посвищет, попоет —
и прощай, пустынная земля!

...Соловей!
Ну кто тебя просил

с курскими напевами кружить
над бойцом Вооруженных Сил,
что приехал в Азию служить?

Полк не спит.
Во тьме костры чадят.
На посту тревожится солдат.

Знал бои за Вену и Берлин
по газетам,
по рассказам он.
Дома был
всегда, как младший сын,
от любой напасти заслонен
мамкиной любовью и слезой,
а на фронте —
батькиным штыком.

Был парнишка опален грозой,
с голодом и холодом знаком.
Детство в громе кончилось.
Подрос.
Как домой, пошел в родной колхоз.
Не последний парень на селе,
знаменитый пахарь на земле!
Он
живет у мира на виду,
потому что дед его, батрак,
в Октябре в семнадцатом году
поднял целину врагам на страх,
а отец в колхозе запахал
первый вековечную межу.
Федор к плугу вместо батьки встал
и сказал:
— За батьку похожу!
Зыковскую хватку покажу!

Зреют правды сильные хлеба.

Есть в колосьях нашего герба
курской ржи ядреное зерно,
что святым трудом озарено
хлебсровов Зыковых —

солдат

славной Революции.

Они
смело путь в грядущее торят.
Коммунизма ясные огни
ими зажжены,
для них горят!

* * *

...Не дождались Зыковы отца,
ночи коротая у крыльца.

Не пришел он с поезда в село —
снегом его тропку замело.
В танковой атаке потерял
старого солдата генерал.

И зажглась на холмике звезда —
из фанеры сделали ее.

Генерал запомнил навсегда
Зыкова последнее жилье.
Разве позабудешь о таком,
как лесами шли, махру деля,
как холодным ножевым штыком
под могилу вырыта земля,
как за пядь, за каждый ком земли —
не единоличной, не чужой —
трудный бой колхозники вели,
смерть была единственной межой?!

...И во тьме, душою не кривя,
каждому о самом дорогом
пел певец.

И с песней соловья
Зыков навестил родимый дом,
старшину

в тени карагача
укачала ласковая трель.
Не заметил даже, как с плеча
на щебнистый грунт сползла шинель,
не заметил, как из котелка,
что стоял на стынущих углях,
выкипел чаек.

...Издалека
задымил широкий пыльный шлях.
И по шляху, с милой стороны,
в Азию из Харькова идет
Галочка —

дочурка старшины.
Вот уже разлуке скоро год!
«Ласточка, до батьки далеко!
Где ж тебе, малесенькой такой?»
...И погладил Павел Головко
чей-то чуб шершавою рукой.
Улыбнулся давнишней мечте,
доченьке,
и встрече,
и певцу,
что хранил ту песню в чистоте
и в разлуке спел ее отцу.

В караулку входит Горобцов:
— Скоро смена, а певец поет!
Будит полк. Тревожит мне бойцов!
На рассвете нам идти в поход.
Каждому, наверное, сейчас
хочется из лагеря домой,
в дом войти на ощупь, не стучась.
чтоб вздохнула мать:
«Сыночек мой...»
Правду говорю?

И, как в огне,
щеки разрумянились, горят.
«Все узнал, выходит, обо мне?» —
думал Федор Зыков.

— Что, солдат?
Угадал! Ну, это не беда.
Погрусти сегодня, повздыхай,
только не забудь, что та гряда,
те пески — уже передний край,
самый настоящий боевой!

Месяц плавно выплыл из-за скал.
И на кряж в опушке снеговой
лейтенант солдату показал.

Там стоят дозорные страны,
всматриваясь в ночь из-под руки.
Там курки винтовок взведены
и протерты насухо штыки...
А за рубежом
ведется торг
с каждым днем коварней и наглей,

продает оружие Нью-Йорк,
покупает —
жизнь простых людей.
И с клеймом заморским «USA»
пушки дальнобойные глядят
на мои пески,
поля,
леса,
на моих товарищей —
солдат.

Но в чужих песках,
в чужих горах
треплет злых непрошеных гостей
то ли малярия,
то ли страх
перед Правдой Родины моей.

Глава пятая

ПОДЪЕМ!

Заря еще там,
за горами,
накапливается к броску,
на реках восходит парами
и стелется по песку.
Заря еще там,
за лесами,
на передовом рубеже.

Свои
со стенными часами
дневальный сверяет уже.

Трубач занимается делом;
покусывая губу,

толченым рассыпчатым мелом
надраивает трубу,
надраивает толково,
с осколочной вмятиной, медь.
И дело становится словом,
и слово готово запеть!

По тусклой поверхности горна
до самого мундштука
суконка мелькает проворно,
как птица, тепла и легка.
Труба постепенно теплеет,
ей блеск возвращает мелок.
Светлеет,
светлеет,
светлеет
труба,
и трубач,

и восток!

Трубач улыбнулся и губы,
как мальчик, лизнул языком.
Зари золотистые трубы
запели над спящим полком.

— Подъем! —
безотказное слово.

И полк уже весь на ногах,
в начищенных с ночи
кирзовых,
на крепком ходу,
сапогах.

В трусах молодые солдаты —
могучие, как на подбор! —
столпились у «агрегата»,
стучат в рукомойный прибор.

Вода вырывается с громом
и рвется на землю из рук.
Стоит за брезентовым домом
лихой металлический стук,
и запах ядового мыла,
и фырканье сонных ребят.
Со всей громобойною силой
громит «боевой агрегат».

Он Зыковым сделан из цинка,
в котором патроны хранят.
— Фантазия, хлопцы!
— Картинка!
— Неплохо придумал солдат!

Да здравствуют руки солдата,
которые сделают все:
и праздничные плакаты,
и мельничное колесо,
и в полный классический профиль
окоп,
и кирпичный завод,
и вырастят в топях картофель,
и выстроят водопровод!

* * *

...Подтянутый,
выбритьй гладко,
медали на солнце искрят —
идет Горобцов по палаткам,
как будто спешит на парад.

Комвзвода с подъема заботит:
как люди вернулись с постов,
как физподготовка проходит,
как взвод к переходу готов?

Он знает, когда и какую
солдат его
книгу читал.

Кто тихо по жинке тоскует,
кто писем давно не писал.

Идет справедливый и строгий —
солдатам он снится таким,—
встречают его на пороге,
сердечно здороваясь с ним.

Для каждого хватит советов,
понятных и ласковых слов:
— Получше обуйтесь, Соседов!
Ремни подгоните, Козлов!
А вы почему не готовы?
Больны? Отстаете опять!
— Здоров...
— Ну, так если здоровы,
нам вместе сегодня шагать.
Одна у нас, Зыков, дорога.
Конечно, она нелегка!

И парень гляделся с тревогой
в застывшие волны песка.

* * *

...Трубач пересохшие губы
облизывает языком.
И неторопливые трубы
поют над Берлинским полком.
— В столовую!
Весело!
С песней!
И кольцами вьется пыльца.

«Махорочка» —
друг разлюбезный —
с пехотой идет до крыльца.

Там повар белеет у входа
и, так уж заведено,
орет:
— Огощала, пехота!
Наваливайся на пшено!

Ох, пшенная каша на сале
да с мясом, чтоб невпроворот!
Бывало, дадут на привале —
и легок любой переход.

Бывало, в заваленный, тесный
окоп, где отрезали взвод,
негаданно манной небесной
тебя в термосах занесет.

И скажет боец, что из тыла
обед на хребте приволок:
— Рубайте, пока не остыла!
В дороге пробит котелок.
Орудуйте осторожней:
осколки застряли в пшенице!

И в ночь уползет он
с порожней
посудиной на спине.

Да здравствует добрая пища!
...И пар над котлами встает.
И ложку из-за голенища
трубач за столом достает —
он первый в полку заработал,
солдат разбудив, трудодень,

**И первою капелькой пота
в песках начинается день.**

**А к ночи сойдет на ученьях
с пехоты шестнадцать потов.
Зато уж к походным лишеньям
наш брат туркестанец готов!**

**(От самого рядового,
неопытного стрелка
до генерала Багрова,
бывалого старика,—
курянин ты или рязанец,
но если ты служишь в песках —
зовут тебя «туркестанец»,
как фрунзевцев в тех же местах.)**

**И знает давно туркестанец:
неласков, но радостен труд,
когда трехлинейка и ранец
без жалости плечи трут,
когда до глухого колодца
песками идти и идти
и слава землепроходца
тебя догоняет в пути!**

**И если ты в пекле песчаном
колючим огнем обожжен,
любовью к однополчанам
и к Азии вооружен,—
ты в топких песках не устанешь,
пройдешь по джейраньей тропе,
жара,
бездорожье,
«афганец»¹,**

¹ А ф г а н е ц — ветер.

безводье —
подвластны тебе!

С тобой все отчество вместе
стоит у великих границ
в суровом,
гористом предместье
пяти азиатских столиц —
пяти равноправных, любимых
Москвы нашей младших сестер —
у кромки непроходимых
песков и заснеженных гор.

* * *

Готовятся к выходу роты:
связисты,
стрелки,
пушкари,
Для каждого хватит работы:
подшей,
под крути,
перетри.
И щелкают сухо затворы,
сапожник стучит молотком.

Закончены быстрые сборы,
начальство довольно полком.

Орудия в полном порядке!
Водители тягачей
еще на заре, до зарядки,
споили машинам ручей;
солдаты на совесть, как надо,
продрали литые стволы.

В хозяйстве соседа-комбата
бывалые служат орлы!
Орлы с обстановкою новой
освоились не торопясь.
В мишень из тесины дюймовой
им с ходу нетрудно попасть
без всяких там «недо» и «пере»,
а дай им мишень из брони —
уж будьте покойны, от цели
обломки оставят одни!

* * *

Играет труба построенье,
на плац пехотинцев зовет.
Такое у всех настроенье,
что самое время в поход!

И песня готова над взвесом —
над каждым особая! —
взмыть.
И миг этот перед походом —
торжественный — как не любить?!

Бодрятся бойцы молодые:
пугает их Черный песок,
где сохнут колодцы глухие,
где солнце колотит в висок.

— Живые барханы там, братцы.
Чуть ветер подует — ползут.
— Чего ж тебе, парень, бояться?
Садись ча пески — довезут!
— Идти нам не близко, ребята!
— Прибудем в текущем году!

...И Зыкову страшновато:
«А вдруг не дойду, упаду?»

Узнать его в роте нетрудно:
он неразговорчив и юн,
ни лычек,
ни знаков нагрудных,
не выцвел на солнце костюм.

И трется всегда под щекою
ворсистой шинели сукно,—
видать, неумелой рукою
заправлено в скатку оно.

«Да, Зыков, хлебну я с тобою,—
подумал комвзвода,— беды!
Не сразу привыкли мы к бою
и к маршу в жару без воды!
Не сразу привык к передрягам
комвзвода, товарищи, ваш!»
Полковник командует:
— Ша-гом...
(протяжно).
И властное:
— ...арш!

И двинулся полк, покидая
палаточный рай на холмах.
И пыль, на кирзу оседая,
густела на сапогах.
И тяга окуталась пылью,
орудия сдвинув вперед.

Так первым совместным усилием
в песках начинался поход.

...А солнце еще за горами,
готовилось только к броску,
на реках клубилось парами
и стлалось росой по песку.

Глава шестая

МАРШ В ПЕСКАХ

Как обманчива пустыня на рассвете!
Отутюжены все складки на буграх,
и раскачивает жаворонков ветер,
как бубенчики на шелковых шнурах.

И пески лежат — прохладные,
немые.

Так и хочется побегать босиком!
И, величественно выгибая выи,
из райпо верблюды шествуют шажком.
Но солдат хороший чуду верит мало —
знает твердо он:

пичуга отзовенит,
только выкатится из-за перевала
солнце, за ночь поостывшее, в зенит.
Обещает небо жаркую погоду —
разошлись без столкновений облака!
...Все получено старшинами к походу —
пуд добра идет на каждого стрелка.

А добро стрелку положено какое?

Трехлинейка,

котелок,

противогаз,

да баклажка,

да лопатка под рукою,

да в мешке зеленом суточный запас.

Шаг упрямый,
шаг тяжелый.
шаг походный.
По колено пыль,

по пояс пыль,

по грудь!

К сорока уже по Цельсию сегодня
подскочила обезумевшая ртуть.

Солнце тоже поднимается все выше —
над холмами,
над песками,
над полком.

«Тroe сугок лили ливни», --

Таня пишет.

Ну, а разве ей напишешь о таком?
Третий месяц эта степь дождей не знала,
третий час пылишь как проклятый по ней!..

Федор Зыков от привала до привала
уставал все безнадежней,
все сильней.

И казалось парню: ноги прикипели
к раскаленному песку —
не отодрать!

И хотелось парню, словно на постели,
на бархане хоть немного подремать.

Старшина шагает рядом:
— Что, рябина,
долу клонишься, качаешься?
— Печет...
— Дай-ка мне твой карабин!
Два карабина
не согрут мое старшинское плечо!

— Хорошо б сейчас с Папаниным на льдине!
Попрохладней вроде...
— Мудрая мечта!..
— Ну куда тут заховаешься в пустыне?
Ни травинки, ни былинки, ни черта!

Тень какая от приспущенного стяга
и какая от штыков граненых тень?!

С теплым чаем алюминьевая фляга
оттянула, как свинцовая, ремень.
Строго-настрого приказано: не трогать,
без команды лейтенанга --
ни глотка!

...Припекает солнце намертво дорогу,
не щадит оно усталого стрелка.

А чаек во фляге плещется и манит.
Так и просится:
«Хлебни меня, солдат!»
Как неполитый кленочек, парень вянет
и поглядывает изредка назад.

Дымовой завесой пыль за батальоном:
закружило всех и все заволокло.
То, что было перед выходом зеленым,
просолилось,

стало в лоск белым-белом!

Гимнастерки задубели на пехоте,
до железа не дотронешься рукой.

— Не мечтал гулять по этакой погоде!
— Говорят, что заночуем над рекой.
— Может, дождик вдарит, видишь, бродит
тучка?

— Хорошо бы...—

разговор ведут бойцы.

...Только скрюченная, жухлая колючка,
да белеют вдоль дороги солонцы,
да по чистому уснувшему бархану
черепашьи неглубокие следы,
да на сотню километров ни стакана,
ни глотка тебе, ни капельки воды!

Шаг упрямый,

шаг тяжелый,

шаг походный.

По колено пыль,

по пояс пыль,

по грудь!

До пятидесяти градусов сегодня
поднимается расплавленная ртуть.

Старослужащие Цельсию не верят,
туркестанцев этой цифрой не возьмешь!
Всю пустыню, если надо, перемерят!
Жаль — без песни, но в песках не запоешь.

Вот идут они —

винтовки за спиною,—

рукава по самый локоть закатав,
обожженные не солнцем, а войною
у днепровских или волжских переправ.

Не такое старослужащие помнят.

— Что вздыхаешь, Зыков?

— Трудно.

— Помолчи!

Обжигала нас война, а в этой домне
туркестанцу как у тещи на печи!

Что им солнце беспощадное, валившим
с одного снаряда танки под Москвой?
Что им ветер обжигающий, ходившим
в штыковые на берлинской мостовой?!

Им легко в колонне двигаться пехотной —
был пожарче от Москвы к Берлину путь!

...Шаг тяжелый,
шаг упрямый,
шаг походный.
По колено пыль,
по пояс пыль,
по грудь!

В гору пушки выползают на мехтяге,
опустив к земле короткие стволы.
Не торопятся машины-работяги —
но уж тянут, как упрямые волы!

И, колеса из завала выгребая,
поднатужилась пехота:
— Ну, разок!
— Взяли!
Разом!
И машина боевая —
юзом,
юзом,
и пошла наискосок!

И умчалась.
Не слышны уже моторы,
только хруст песка —
полка тяжелый шаг.

...Где-то танки есть
и бронетранспортеры.

Есть полуторки в просторных гаражах!
Где-то — бог войны
и чудо-самолеты.
Есть и вещи поновей у нас в тылах.

Но сегодня в одиночестве пехота
отрабатывает пеший марш в песках.
Отрабатывает выдержку и силу
в стороне от кишлаков, колодцев, рек —
там, куда стару редко заносило,
где нечастым гостем пеший человек.

* * *

По дороге за колонной туча пыли.
Не заметил замыкающий солдат,
как в зеленом фронтовом автомобиле
генералы из дивизии катят.

Впереди сидит, плечом к плечу с шофером,
загорелый и обветренный старик.
Он за три десятилетия к просторам
государственной окраины привык.

Обошел он пять республик и объехал,
азиатское безбрежье пересек.
Гул шагов его хранит в ущельях эхо,
след сапог хранит разбуженный песок.

Он, как в юности, вынослив, непоседлив,
как на фронте, все спешит увидеть сам.
Он с бойцами по-отечески приветлив,
знает тысячи людей по именам!

К генералу обратиться можешь смело,—
знают люди из полков и кишлаков,

что всегда и до всего в пустыне дело
депутату скотоводов и стрелков.

Приходи к нему и штатский и военный,
он на месте — даже в полночь приходи.
Как с отцом родным —

прямой и откровенный

разговор неторопливый заводи.
И выкладывай, какая есть забота.
Если требуется помочь — попроси.
На открытие сельгэс или завода
генерала непременно пригласи.

Он приедет не для славы и почета,
не в президиуме время проведет.
Обойдет он территорию завода,
будто роту поверяет, не завод!

Для него всегда законы службы святы:
ищет смысл во всем — не только «внешний вид».
Погому, волнуясь, ждут его комбаты,
услыхав, что он на стрельбища спешит;
потому обеспокоен предколхоза
из соседнего со штабом кишлака,
потому в песках «не нашего» вопроса
нет для старого бойца-большевика!
Он вернется с заседания горкома:
ждут дехкане депутата своего,
ждет начштаба,
и с утра заждался дома
старый друг,

что прибыл в отпуск из ПРИВО¹.

И полночи вспоминают генералы,
как от кушкинских редутов на Герат

¹ ПРИВО — Приволжский военный скруг.

интервентская орава удирала,
удирал английской армии отряд...
...Вот он встал.
Усы свисают по-казачьи.
Как у старого учителя — пенсне.

Генерал Багров приехал!
— Ух, горячий!
— И подвел же нас куряний!

Как во сне,
вдруг увидел Федор Зыков генерала.
Дверца хлопнула,
идет к нему Багров.
— Поотстал, солдат? Не страшно для начала?
— Первый раз иду!
— А может, нездоров?
— Нет, товарищ генерал, я не болею.
Я из Курска. Трудновато мне в песках.
— Понимаю. Хорошо б сюда аллею,
чтобы тень от лип да речка в камышах!
Значит, курский, Зыков, будешь? А района
ты какого?
— Ракитянского.
— Бывал...

...Генерал с бойцом шагают вдоль колонны.

— Письма пишешь?
— Нынче только отоспал.
— Не родителю?
— Убит под Инкерманом...
— Говоришь, под Инкерманом? А отца,
ты скажи мне, Зыков, звали не Иваном?
— Да. Григорьевичем...
— У меня бойца

ракитянского, припомнил, так же звали.
Подкосил его у знамени свинец.
Мы с ним вместе в Черноморье воевали...
Слышишь, Зыков! А тебе он не отец?
— Это ж батя мой!
— Не может быть...
— Отец мне!
— Что же сын его на марше поотстал?
Видно, плохо разобрался ты в наследстве!

И солдату улыбнулся генерал:
— Помни, Зыков: эти алые погоны
завещал тебе отец.

Учись, сынок!

— Есть учиться!
Вдаль уходят батальоны.
И вернулся в строй смущенный паренек,—
молча встал он под прославленное знамя
и пошел за ним вперед,
вперед,
вперед!

Старшина тогда сказал:
— Самосознанье! —
Горобцов кивнул:
— Теперь не подведет...

И живой сгоял у парня пред глазами
в плащ-палатке,
в каске
батька-фронтовик.

Как Багров —
был невысок,
плечист,
с усами.

Как Багров, спросил:
— Что, малый, не привык?

Трудно, Федя? Я ведь знаю — трудно, Федя!
Завещал тебе отец нелегкий путь.
Но иного нет, сынок, пути к Победе!

...По колено пыль,
по пояс пыль,
по грудь!

Полк в дороге от восхода до заката —
с каждым часом тяжелей походный шаг.
И в барханах сапогами отпечатан
не отмеченный картографом большак.

Вечереет.
И пустыня постепенно
остывает,
отдувается,
скрипит:
точно взмыленная лошадь, белой пеной
солонцовые излучины кропит.

Вечереет.
Перевернута страница.
И пески уже повиты синевой.
И по берегу реки молчит граница.

— Вот и край страны!
— Передний...
— Боевой!

Глава седьмая

ВСТРЕЧА НА РУБЕЖЕ

Только юочью не обманчива пустыня —
стынет всхаканный пехотою песок;
солонцы напоминают легкий иней,
припушивший саксауловый лесок.

И такая тишина здесь и прохлада,
словно берегом морским идешь, шурша.
Кто сказал, что диверсанты бродят рядом?
Кто писал, что шлют шпионов США?

...Первый взвод застыл у самого кордона,
у ручья, куда дозором головным
он пришел, торя тропу для батальона,
где страна чужая встала перед ним.

Но в тишайшей тишине как будто молот
вдруг срывается за каменным бугром:
сумрак выстрелом пронзительным расколот,
вслед за выстрелом плывет недолгий гром.

И пустыня наполняется недальным
мягким шлепаньем подков и башмаков.
И звезда летит ракетою сигнальной
с грозовых, готовых к буре облаков.

Старшина, не размышляя ни минуты,
вмиг патроч достал, винтовку сняв с плеча.
И защелкал взвод затворами, как будто
шел он по лесу, валежником треща.

И откуда-то из ночи молчаливой
свет фонарика мигнул,
потом померк.
И шагнул из тьмы майор — неторопливый

коренастый пограничный офицер:

— Кто такие? Из какого будем края?

Знаю, знаю — закаляетесь, как сталь!

За старшего кто?

— Я буду,— козыряя,

лейтенант выходит, всматриваясь вдаль.—

Горобцов. Комвзвода.

— Вот тебе и встреча!

Ермолаев я! Узнал меня, орел?!

Значит, вправду наши хаты недалече!

— Недалече...

— Ты не в гости ли забрел?

Ну, выкладывай!

— Да расскажите лучше,

кто стрелял сейчас?

— Постой, солдат, постой.—

Ермолаев улыбнулся.—

Кто? Лазутчик!

Не давался! Видно, мистер не простой.

Пострелял, поверещал перед заставой.

Ты небось уже велел окопы рыть?

Что поделаешь с соседнею державой!

Ведь нельзя рубеж стеной огородить.

Вот и пробует оттуда просочиться

поджигателями купленный бандит.

Но незыблема советская граница —

и еще один задержанный сидит!

У него в карманах яд — травить колодцы.

Так и шел к нам с желтой ампулой в руке.

Обеспечен всем в Нью-Йорке! Все найдется
у запасливого мистера в мешке.

...День и ночь у нас горячая работа.

Вот она тебе, «холодная война»!

В обстановке разбираешься, пехота?

...Над кордоном фронтовая тишина.
И комвзвода говорит:
— Я у границы
не узнал своих безусых молодцов.
Понимаете, друзей окопных лица
вдруг увидел...
— Понимаю, Горобцов!
— ...Все мне кажется, что снова по приказу
занимаем оборону вдоль реки.
— Понимаю, Горобцов!

Еще ни разу,
с Октября, не отмыкались здесь штыки.

Зыков слушает от слова и до слова
и увязывает все двойным узлом:
— Значит, эти, как фашисты, лезут снова
в мой отцовский, честно выстроенный дом.
Значит, если крепко любишь край свободный,
где открыт тебе широкий светлый путь,
ничего, что шаг тяжелый, шаг походный,
ничего, что пыль по пояс, пыль по грудь.
...Я об этом отошлю письмо Татьяне,
о товарищах подробно напишу.
Пусть узнает на далеком расстоянье,
как я нашему отечеству служу!

Зыков слушает.
И словно перед первым
боем ясно все становится юнцу.

(...Небо синее вдруг стало темно-серым,
капля пота покатилась по лицу.
И готов он, по условленному знаку,
из окопа, подтянувшись на руках,
с одногодками рвануться в контратаку
здесь, в родимых и неведомых песках.)

Первый взвод расположился на ночевку
в котловане за обрывистым бугром.

Старшина сказал:

— Пожалуйте в столовку!

Повара заколдовали над костром.

И когда вода забулькала, запела,
старшина в нее засыпал концентрат.

— Лейтенанта будем ждать?

— Нет. Он по делу

неотложному

ушел в погранотряд.

Так что я за командира. В ложки, братцы!

И пошел горох, дымясь, из котелка.

Есть где после перехода разгуляться:

все нашлось в бездонных недрах вешмешка!

На барханах пехотинцы закусили,
обстоятельно, по норме фронтовой.

А потом они шинели постелили

и шинелями укрылись с головой.

Тихо-тихо...

За рекой такой же вечер

и в колючке побуревшие холмы.

И обрывки незнакомой курдской речи
вырываются, как бабочки, из тьмы,
на огонь костра летят и, обгорая,
затихают, осыпаясь в саксаул.

Тихо-тихо...

На краю родного края

без задержки,
по-солдатски,
взвод уснул.

Туркестанцам ничего не будет сниться:
крепок сон у них и помыслы чисты.
И по берегу реки молчит граница,
и не спят всю ночь трехсменные посты.

И спиной к спине —
как в поле на привале
или в тесном полуутенном блиндаже,
где ненадолго солдаты забывали
о тревогах на переднем рубеже,—
спят солдаты,
и винтовки с ними рядом,
старшина прилег с фуражкой на глазах.

...А за речкой,
за прибрежным перекатом,
в драных юртах,
в неприютных шалаших
спят издольщики —
рабы на землях бая,—
как всегда, им снятся вольные луга,
где архары ходят, травы приминая,
опустив легко тяжелые рога.

И, огонь костра нещедрый карауля,
на кошме лежит оборванный пастух.
И в изогнутом, как кости, саксауле
огонек вдруг оживился
и потух...

И возник над переправой,
у дувала¹,

¹ Дувал — глинобитный забор.

где басок громыхал, то утихал,
где собака по-шакальи подывала
и мотор по-человечески чихал.

Видно, гость пришел негаданный в селенье —
может, требует воды, проводников
или молит, встав у юрты на колени,
спрятать в стойбище от каторжных оков.

Нет!

На «виллисе» за помощью не ездят —
есть вода своя, свои проводники.
Дело важное у «виллиса», уж если
ночевать он задержался у реки.

Дело важное у путников —

к чему же
забираться в непролазные пески.
Для прогулки не найдется места хуже —
зыбуны вокруг.

Подохнешь от тоски!

И услышал Головко сквозь дрему близкий
разговор на непонятном языке.

И подумал Головко:

«Кто ж по-английски
может знать в кочевые курдском на реке?»
И подумал:
«Почему это у нашей
пограничной полосы они торчат?»

А мотор по-человечески закашлял,
ветерок принес бензина легкий чад.

И проснулся взвод, как будто в час подъема.
Старшина сказал:
— На Эльбе видел жизнь
тех молодчиков! Повадки их знакомы!

Что сказать про них? Скажу одно: фашизм!
Ясно, хлопцы, что им нужно у кордона?
— Понимаем!
— Это все — ученики,
черчиллята, дети Черчилля Пистона
или как его там?
Грохнули стрелки.
Дружный смех, как дружный залп из
автоматов...

Головко, звеня медалями, прилег.
И за речкой,

за прибрежным перекатом,
как подстреленный, осекся говорок...
И как будто ослепительной зарницей
осветилась вся земля на миг один.
...Лег курянин над притихшую границей,
словно друга, прижимая карабин.

И, удобней примостившись на шинели,
рядом с Павлом Головко —
спиной к спине —
спал солдат,
пока пробудку не пропели
полковые трубачи по всей стране.

Глава восьмая

ДОРОГА К ПОДВИГУ

Пока еще
на Карпатах,
на западе нашей страны,
на горных заставах,
к солдатам
приходят высокие сны;
пока еще
в Туркестане,

в районе сыпучих песков,
пехота по горну не встанет
с шинелей и вещмешков —
светило восходит на Дальнем.
На радость дневальным идет,
искрясь,
по казарменным спальням,
на запад,
на запад,
вперед —
к Восточной Сибири,
к Уралу,
к Поволжью,
к донским берегам.

И так оно мало-помалу
проходит по всем округам...

* * *

— Подъем! —
безотказное слово.
И солнце уже в небесах.
И все начинается снова
у нас в туркестанских песках!

И на
знаменитых знаменах
и на
знаменитых стволах;
и на
непривычно зеленых
в пустыне
колхозных полях;
и на
знаменитых заводах,

где только что выдан металл;
на стеклах умытых,
на водах,
которые рвутся в канал;
и на
убеленной вершине —
весеннего
солнца
лучи!

И зорю играют в пустыне
полков боевых трубачи.
Трубят под безоблачным небом,
где только сейчас рассвело,
где за ночь пехоту, как снегом,
обильным песком замело,
где только улегся «афганец»,
солдата в песках склонив.
Но двинул солдат сапогами,
чихнул —
и по-прежнему жив!

И к маршру готов без отсрочки,
и только с ухмылкой ворчит,
что весь аж до нижней сорочки,
как сахар толченый, хрустит.
Смеется:
— Я за ночь гостинца
припас для чаевников, друг!

И снова шинель пехотинца
в спасательный скатана круг:
она и от снега спасала,
спасла от сыпучих песков.

...Под ней высекало кресало
искру для бивачных костров.

На ней, заслоняя собою,
четыре окопных дружка —
несли мы зовущего к бою
израненного политрука.

И ночью в минуты привала
над черной германской рекой,
как мать, нас шинель согревала,
как мать, приносила покой.

Писалось на ней заявление:
«Навеки считайте меня...»
В шинели мое поколенье
вернулось домой из огня.

О, шитая ладно и просто,
ты в самую пору бойцу,
ты только бесстрашным по росту
и только бессмертным к лицу!

С тобой подружились недаром,
родные по жарким боям:
солдат, и седой командарм,
и генералиссимус сам!

Отечеством призванный воин!
В стрелковый придя батальон,
будь серой шинели достоин
и алых достоин погон!

* * *

...Играет трубач построенье,
по взводу равняется взвод.
Такое у всех настроенье,
что самое время в поход.

**Пора!
За спиною граница —
под утренней дымкой ручей.
Уходит домой вереница
приземистых арттигачей.**

**Цепями ползгав на спуске,
плывут по барханам в пыли
машины при полной нагрузке
легонечко, как корабли.**

И двинулись роты...

**Но с ходу
«афганец» ударил с высот,
где он караулил пехоту,
готовую выйти в поход.**

**Он ночью провел уже поиск,
хозяйничал у рубежа —
солдат засыпая по пояс,
глаза часовым пороша.**

**Он между хребтов, как в туннеле,
спрессованный,
сжатый с боков,
накапливаясь недели —
и вырвался из оков.**

**И поднял пески навесные,
толкнул, обозлясь, зыбуны.
Пошли они злые, шальные,
да так, что уже не видны
друг другу в шеренге солдаты,
да так, что хоть наземь ложись.**

— Ох, будет работка, ребята!
Начнется веселая жизнь.
Эй, Зыков! Ты жив? Страшновато?
— Живем ничего, старшина!

— И правильно, парень! Солдата
не свалит такая волна.
Ты голову, друг, поупрямей
нагни и шагай напролом,
буран разгребая руками,
как бурмую речку веслом!
Зажмурься — и действуй ногами,
да так, чтоб верхом не догнать!

Крепчает,
крепчает
«афганец».

Ну кто мог заранее знать,
что встретится полк на походе
с песчаным бураном шальным,
что грудно придется пехоте,
не легче орудьям стальным,
что будет казаться прогулкой
вчерашний нелегкий бросок,
что ветер, как в парусе, гулкий
вокруг взбаламутил песок.

И ты по колесному визгу
поймешь:
— У соседей беда!
Застряло орудие близко
и надо пробиться туда!

А там,
за песчаной стеной,

— За мной, туркестанцы!
За мною! —
зовет батарейцев комбат.

(Так было над Волгой когда-то
в степи, что от снега бела,
железная воля комбата
в пургу батарею вела —
ни стонов,
ни вздохов,
ни вскриков.
Над каждым движением власть!

«Солдат я!» —
сказал себе Зыков,
плечом к колесу привалясь.
«Солдат я», —
два гордые слова
сказал туркестанец себе.

И пушка подвинута снова
к накатанной узкой тропе.
И парень впервые доволен,
как дома, любимым трудом.

...Стоит у обочины воин,
идут тягачи напролом.

* * *

**Идет напролом по пустыне
Берлинский прославленный полк.**

**Под этим же стягом
в Берлине**

он с честью свой выполнил долг.
Под этим же стягом Россия,
великая родина-мать,
его собирала,
растыла,
учила врагов побеждать!..

* * *

...А ветер бросается с гиком —
все жестче он,
злей и грубей.

И Зыкову слышится:
— Зы-ы-ы-ков! —
кричит Горобцов.—
Не-е-е ро-о-бей!!
«Так, значит, он рядом со мною!
В беде не оставил меня!»

* * *

Комвзвода!
Солдат целиною
ведешь ты по кромке огня.
Ты стал им отцом на тернистом
пути.

И, как в битве, опять
«Считайте меня коммунистом!» —
ты мог бы парторгу сказать.

Есть в мирной учебе солдата
ключи к героизму в бою.

Ты сам начинал так когда-то
под Брестом дорогу свою —

из роты учебной, где в муках
был собран впервые затвор,
где ты разобрался в науках,
пред тем как уйти на простор;
где ползал травою примятой,
на росном весеннем лугу,
где ты деревянной гранатой
учился владеть на бегу.

...Мы опытней стали и старше,
уже серебрятся виски;
но наши учебные марши,
«атаки»,
«прорывы»,
броски,
как школьные дни, незабвенные.
И ты благодарен был им,
когда на переднем у Вены
пополз под огнем проливным.

Азы героизма —
в учебе:
и в преодоленном песке,
и в первом стрелковом окопе,
и в первом пластунском ползке,
и в первом полете под тучи,
и в первой прицельной стрельбе.

Командиры!
Ты мужеству учишь!
Равняется взвод по тебе!

Да здравствует подвиг бессмертный
и к подвигу верный маршрут:
учителя труд беспримерный,
солдат ученический труд!

«Афганец» не справился с нами —
он сдался,
пополз по земле.

И снова развернутс знамя,
хранившееся в чехле.

Но не забывай, туркестанец,
что в зоне советских песков
не только ветрище «афганец»
всегда объявиться готов!

Есть люди, которым в наследство
оставлены яд и ножи,
которым мерещатся с детства
советские рубежи.

Что этим бродягам простые
механики и чабаны?
Им видеть бы пашни пустые,
пожарища нашей страны!
Спокойна их черная совесть:
в дыму голубой небосклон
от полымя междуусобиц
афганских и курдских племен.

Прислушайся:
там за рекою
пальба не стихает в ночи.
А было, брат, время такое:
врывались и к нам басмачи.

Их сотни четыре, отпетых,
за опиум купленных псов,
английским каптером одетых

в мундиры туземных стрелков,
твой батька встречал в гарнизоне
с десятком солдат-храбрецов.
Встречал!
И афганские кони
несли в стременах мертвцев.

На танки теперь пересели
британцы и басмачи.
Теперь в их полуночном деле
не к месту кривые мечи.
Куют им за океаном
оружие новых сортов.

Но к встрече с бродягой незваным
солдат-туркестанец готов!

Стоит он, солдат Коммунизма,
на страже свободной страны,
и мощные механизмы
покамест зачехлены.

Но там, под брезентом зеленым,
помалкивает металл.
Мир помнит его раскаленным,
когда он фашизм выжигал!

Задумывается над этой
недавней историей враг!
...Проверенное Победой,
оружие в крепких руках!

Стоит, к сапогу прижимая
окованный прочно приклад,
хранитель цветущего края,
страны справедливой солдат!

**Ему и колодцы, и тропы
открылись в пустыне родной.
Табунщики и хлопкоробы
живут за широкой спиной.**

**Земля обновленная рада
защитникам Октября!
...Зовет на открытье Фархада
монтажник к себе пушкаря.**

**В президиум просят сержанта --
стрелка из подоблачных мест.
И речь его слушают жадно
досармовцы из МТС.**

**Голодной степи новоселы
танкиста позвали на той¹.**

**В Хиву на открытие школы
шагает курсант молодой.
Он школу окончил в Сибири,
в пустыню приехал служить.
И дети стихи не забыли
о дружбе с армейцем сложить.**

**Во все кишлаки Туркестана —
на каждое торжество:
на свадьбы, на праздники званы
солдаты дивизий ТУРКВО!**

**...Да здравствует дружба солдата
с народом республик родных,
граница, хранимая свято
под сенью знамен боевых!**

¹ Т о й — праздник.

Глава девятая

ЗДРАВСТВУЙ, ОРУЖИЕ!

Когда играет «по-па-ди!»¹
трубач на полигоне
в тылу, на крутоисклоне,
и сердце трепетно в груди
стучит с прикладом рядом
под лейтенантским взглядом —
ты приглядись к мишеням
(чернеют впереди!),
вооружись терпеньем
(точнее наведи!)
и пулю к пуле точно,
как зерна, посади!

Какая это радость —
увидеть на щите,
что если они рядом
в положенной черте
(как будто лист бумаги
дырявили гвоздем!).

... В трех километрах —
лагерь,

в трех километрах —
дом.

Там на Доске почета
должны наклеить фото
отличного стрелка.

Должны...

Ну, а пока
в последний час похода
приказано залечь —

¹ Сигнал на стрельбах.

охота не охота,
а порох надо жечь.

* * *

За лагерем ложбина —
сплошные пустыри.
Простор для карабина,
куда ни посмотри!
Стреляй, да поточнее,
чтоб пуля в цель вошла,
звеня и сатанея,
стремительна и зла;
чтобы свинец каленый
прожег бумажный лист,
где издавна зеленый
изображен фашист.

Но если взять повыше
в прицеле —

над щитом
посвистыванье слышишь
свободное потом.
Ушла на волю пуля,
умчалась в никуда
и в пыльном саксауле
исчезла без следа.

Та пуля
(на излете
не ранит, не убьет)
могла пропасть в болоте,
могла вонзиться в лед,
могла, преград не встретив,
уйти и молча лечь
в сенате, где о третьей
войне заводят речь.

Предупрежденьем грозным
войдет она туда.
Напомнит всем нервозным:
«Спокойней, господа!
Бойцы за дело мира
точны, стреляя в цель!»

...Одна ушла из тира
за тридевять земель.
И та недаром время
в пространстве провела —
поговорила с теми,
кому война мила.

* * *

...И вспомнив наставленья
(не жмурься и не рви,
не потеряй мишени
и мушку не скриви;
как старые солдаты,
прицелься под обрез,
не вздрагивай, когда ты
сухой услышишь треск!) --
прилежно навёдил он,
потом нажал крючок —
и точно вколотил он
все пули в пятачок,
аж ухнуло в пустыне!
— Вы, Зыков, молодец!

...Засел, скрипя, в лесине
чуть сплющенный свинец.

Так вот оно, свершенье!
Сбываются мечты —
к простреленной мишени
спешишь по дюнам ты.

Жаль, никому не слышно,
как хвалит командир:
— Стреляете отлично!
Ходили раньше в тир?

Бегом, бегом к исходным
по полю напрямик!

А старшина со взводным
толкуют:
— Попривык
к безусому народу,
скажу я вам, вполне!
— Да, привыкают к взводу
не только на войне...

...Бойцы после отстрела
устроились в тени.
Приятно ломит тело.
Приляг,
но не усни!

И ты, с друзьями лежа,
спросил:
— Скажите мне,
стрельба у нас похожа
на ту, что на войне?

— Похожа да не дюже,—
ответил старшина. —

Условия там хуже.
На то, брат, и война!

— Действительно, не лучше,—
заметил Горобцов.—
Поэтому и учат
не в комнате птенцов
летать, а на просторе!
Жизнь — лучший педагог!

И с Зыковым на взгорье
он рядышком прилег.

И снова,
словно в жизни,
вдруг встретились друзья!
И снова
солнца брызги
ударили в глаза
с патронника, где, стерты
годами и огнем,
четыре цифры гордо
сошлись в луче одном.
И гомон венских улиц
почудился ему,
и вспомнил, как под пули
полз в утреннем дыму.

...Солдаты полукругом
присели на песке.
И встал комвзвода с другом —
с оружием в руке.

И рассказал он снова:
как шел на смерть солдат,
как сестры неживого

снесли его в санбат,
как там о карабине
он думал:
«Где ты, друг?»
Как встретились в пустыне
на полигоне вдруг.
И Зыков поднял руку,
и слова попросил:
— Так вот какую штуку
я на плече носил...
Друзья-однополчане!
Я буду до конца...

...В задумчивом молчанье
взвод слушает бойца.

— ...Всегда присяге верен!
Клянусь, солдаты, в том!

* * *

Открыты настежь двери
в армейский светлый дом.
Входи, хозяин юный!
Наследство принимай:
оружие
и дюнный
далекий отчий край!
И мужество,
и братство
окопное бери!
Солдатское богатство
не разбазарь смотри!

...На дальнем крутосклоне
горнист играет сбор.
Затих на полигоне
солдатский разговор.

По падям и увалам
домой взвода идут.
Работку запевалам
в пути всегда найдут!..

И подхватил в пустыне
ту песню дружный полк,
а с ним весь край родимый —
большие города,
песок непроходимый,
высокая вода!

Хорошой песне можно
сердечно подпевать.
Хорошую не сложно
запомнить и понять.

И, голос запевалы
узнав издалека,
дехкане у канала
запели песнь полка.

И на лугу запели
седые чабаны,
девчата из артели,
что на краю страны.

...Шла песня над песками,
как вал морской, бурля.

**Под полковое знамя
вставала вся земля.**

Глава десятая
СОЛДАТСКИЕ БУДНИ

**Легко солдаты служат,
когда сердечно дружат —
читают письма вслух
от матерей из дома,
из школы, из райкома,
от девушек-подруг,
сойдясь под вечер в круг.**

**Легко солдаты служат,
когда в свободный час
с хорошей книгой дружат,
хорошему учась,
над каждою страницей
о действующих лицах
толкуют, горячась.**

**Бывает, что о долге,
о славе спор зайдет.
И вдруг стихи о Волге
прочтет стрелковый взвод.**

**И образ сталинградца
все озарит огнем.
И будет взвод стараться
себя увидеть в нем!**

...Не сходит солнце с неба —
как днем, лучи разят,
да комары свирепо,
что «мессеры», звенят.

Но у арыка тесно:
лежит, сидит народ,
никто не встанет с места,
в палатку не уйдет.
Полроты у арыка —
сейчас не стирка там —
свела пехоту книга
к развесистым кустам.

Жить легче с умной книгой.
— Читай, земляк, читай!
В ней правда о великой
войне за милый край!

И слушают солдаты,
и мнится молодым
за горным перекатом
чужой фугасный дым.

— Как быть?
— Как в книге честной!
— Как жить?
— Как Кошевой!
— А если смерть?
— Так с песней!
— А рана?
— Снова в строй!

О книга!
Друг заветный!

Ты в вещмешке бойца
прошла весь путь победный
до самого конца.
Твоя большая правда
вела нас за собой.

Читатель твой и автор
ходили вместе в бой.

* * *

...Я видел в Туркестане,
как в предвечерье
полк
над книжными листами
задумчиво умолк.

Чуть губы шевелились,—
казалось в страшный зной
в пустыне наклонились
солдаты над Десной,
над Волгой,
над Онегой...
У каждого стрелка
любимая есть книга,
родимая река!

...А я такую в жизни
еще не сочинил,
чтоб воин Коммунизма
в ней жажду утолил!

У старшины в каптерке,
в палатке на пригорке,
картинки на стене
из фронтового быта,
чтоб не было забыто,
что было на войне.

У старшины в каптерке,
где сладок дух махорки
и запах гуталина
от сказочных сапог,
в которых из Берлина
пришел в пустыню полк,
где обмундированье
лежит на стеллаже,
где есть всему название,
все людям по душе,—
соленую от пота
боец одежку снял:
— Нарядным быть охота!

Кто чувство это знал?!

И сразу для героя
нашлись у старшины
отличного покроя
зеленые штаны,
мундир по лучшей моде,
знак гвардии на нем.

— Устал, герой, в походе?
— Под старость отдохнем,—
ответил Зыков басом.

В палатке старшины
курянин подпоясан
и с каждой стороны
придирчиво осмотрен,
ревниво обсужден,
как на осеннем смотре,
где скоро будет он.

...Веселый и опрятный,
спешит в райцентр солдат.
На нем мундир парадный,
и пуговки горят;
на нем ремень, уставом
положенный бойцу.
И все на парне бравом
и — кстати,
и — к лицу!

И пусть не в этом счастье,
но знает, выйдя в путь:
перед соседней частью
обязан он блеснуть
и шагом знаменитым
(он стал уже бойцом!),
и выпрекой,
и бритым
обветренным лицом.

Стучат подковки звонко —
сапожник был мастак!
Заслушалась девчонка,
пошла, замедлив шаг.
А мальчики — те следом
бегут вперегонки:
— Гляди, Витюк, на этом
со звоном сапоги!

И даже два майора
довольны были им,
когда он вдоль забора
ударил строевым.

* * *

До парка недалече —
умерил Зыков пыл,
расправил шире плечи,
пилотку набок сбил.
И, отойдя в сторонку,
к тесовому крыльцу,
достал солдат суконку,
смахнул с кирзы пыльцу —
и в самом лучшем виде
пред публикой предстал.

Эх, если б это видел
товарищ генерал!

Сказал бы:
«Что я вижу!
Не узнаю орла!
Ну, подойди-ка ближе.
Как служба? Как дела?
Боишься, Зыков, марша?»
И Зыков бы сказал:
«Почетна служба наша,
товарищ генерал!
Хотя и трудновата,
да знаем, что нужна!»

...Но тут мечты солдата
нарушил старшина.

На старшине медали
за подвиг боевой
и прочие детали
эпохи фронтовой.

Он в том же направленье
из лагеря спешил.
Он Зыкова волненье
по-братски ощутил:
— Вдвоем повеселее! —
окликнул старшина.

...Вечерние аллеи.
Темнеет.
Тишина.

Прошли солдаты парком
солидно три кружка.
Один заметил:
— Жарко!
Другой:
— Хлебнем пивка!

...Багряного заката
в полнеба полоса.
В запасе у солдата
еще есть полчаса.

Прошли друзья к витрине,
где «Красная звезда»,
бывает, о пустыне
напишет иногда.

Потом пошли на почту,
и Павел Головко
рассказывал про дочку,

вздыхая глубоко:
— Курносая солдатка!
Ей там не до отца:
все ходят в марш по кладкам
от тына до крыльца...

На почте описали
друзей,
жару,
песок.

Всем родичам послали
привет на двадцать строк.
И передали милым
поклон от трех взводов.
Жаль, кончились чернила
и не хватило слов!

* * *

...Легко солдаты служат,
когда сердечно дружат —
читают письма вслух
у старшины в кантерке,
в палатке на пригорке,
сойдясь под вечер в круг;
у старшины в каптерке,
где сладок дух махорки,
картинки на стене
из фронтового быта,
чтоб не было забыто,
что было на войне.

А на войне, бывало,
идешь,
идешь,
идешь.

Ни хаты, ни привала —
болого,
ветер,
дождь...
Но приказали — значит,
и день
и ночь —
иди!
И щей не жди горячих —
бой жаркий впереди!

А на войне дружили
(всегда бы так дружить!)
и дружбой дорожили
(нельзя без дружбы жить!).
И Головко, парторга,
прикрыл в бою дружок.
Под сердцем гимнастерку
дружку свинец прожег...

А на войне Победа
не сразу к нам пришла —
четыре знойных лета
большая битва шла.
Бесстрашно и сурово
дрались фронтовики.

...Так будет,
если снова
пойдут на нас враги!

* * *

Остужен жаркий воздух
в кленках,
в карагачах.

**И полог в крупных звездах
у сопок на плечах.**

**О старшине заходит
беседа у солдат.**

— Он прослужил в пехоте
все десять лет подряд.

— Душевный он.

— Бывалый!

— Толковый человек.

— Толковый? Это мало!

Он, знаешь, лучше всех...

— Он был под Сталинградом
в тот самый важный год!

— С таким я, если надо,
готов в любой поход
пойти без остановки!
Надежный он у нас...

**...Час самоподготовки,
учебы строгий час.**

Глава одиннадцатая

ВЕЧЕРНЯЯ ПОВЕРКА

Вечерняя поверка.

Над плацем лунный диск,
и Марс или Венера
посматривает вниз.

**В палатах пахнет мятой
иль порошком зубным.
Сигнала ждут солдаты
над письмами к родным.**

Спокойное затишье —
закончен жаркий день.
И поднялась повыше
пехота на ступень.

И снова отработан
весь комплекс штыковой,
солдатским куплен потом
успех на огневой.

И марша завершеньем —
в полдневную жару
был «бой» на окруженье
поселка на юру.

И возле карт Китая
не спорили дружки,
последние втыкая
победные флаги.

...Оркестр удариł лихо!
(Флейтист влюблен в мажор,
не знает слова «тихо»
литаврщик до сих пор.

С войны привычка эта:
тогда гремел окрест
с рассвета до рассвета
совсем иной оркестр.

Попробуй слабой медью
покрыть снарядов вой!
И с громом шел к Победе
оркестр полковой.)

На плац побатальонно
идет Берлинский полк,
шаги граня влюбленно
и в песнях зная толк.

И сердце, как сквозное
раненье, защемит,
когда он вдруг родною
«Махоркой» задымит.

И я припомню снова
товарищей в строю
и песнь полка родного
вполголоса спою.

...Ты был мне колыбелью,
Второй десантный полк!
В подоткнутой шинели
и я в атаку шел.

Я был стрелком не лучшим,
не первым храбрецом,
но на снегу скрипучем
упал вперед лицом,
упал, метнув гранату,
чтоб земляки прошли
быстрее к Сталинграду
и дальше —
полземли!

Я был простым солдатом,—
миллионы нас таких,
крещенных Сталинградом!

Пусть числят нас в живых
и к строю снова годных,
в сенате,
в той стране,
где господа сегодня
готовятся к войне.

* * *

Мне чудится, что знамя
гвардейское плывет
во мгле перед бойцами,
как по волнам.

И вот,
песка касаясь краем,
горит багряный шелк,
в лучах луны играя
и озаряя полк.

Легко у знаменосца
наклонено древко.
Оно не шелохнется
в руках у Головко.

И он несет, как пламя,
как свет большой души,
простреленное знамя
перед полком в гиши.

И полк на месте замер.

Кто знает этот миг?

Влюбленными глазами
проводит фронтовик
военную святыню
гвардейского полка,

Он с ней пришел в пустыню
и с ней уйдет в века.

И на гвардейском стяге,—
где Ленин как живой,
где орден, что в атаке
заслужен под Москвой,—
он видит путь свой долгий:
года,
недели,
дни,
разбитый дом над Волгой,
ракетные огни.

Припал губами к стягу
молоденький солдат:
— Клянусь тебе ни шагу
не отступать назад!

И вот уже солдата
ведет война вперед.
И слава Сталинграда
с ним рядышком идет.

И на границе к стягу
опять припал солдат:
— Клянусь тебе ни шагу
не отступать назад!

* * *

Мне чудится, что знамя
гвардейское плывет
во мгле перед бойцами,
как по волнам.

И вот
курянин глаз не сводит
со знамени полка.
И кровь по жилам ходит,
как жаркая река.
И дышит глубже, глубже
под гимнастеркой грудь.
— За этот самый лучший
на белом свете путь
с хорошими друзьями
под полковое знамя,
пробитое в бою,—
я, пехотинец Зыков,
все силы отдаю!
Тебя святыня наша,
сумею уберечь!

* * *

...Торжественного марша
медлительная речь.

Берлинский полк на месте
застыл.

И в этот миг
солдат, убитый в Бресте,
в строю, как свет, возник.

— Фомин!
И помкомвзвода
ответил:
— Пал в бою
геройски за свободу,
за Родину свою!
...Из стороны болотной,
где след траншейный свеж,

Фомин, солдат пехотный,
вернулся на рубеж —
воскрес под шелком алым
у мира на виду,
на правом фланге встал он
в незыблемом ряду!

Так вот оно, бессмертье,
не в песнях — наяву!

И пуля, что в предсердье
вошла, свалив в траву,
солдата не отнимет
у молодых друзей.
Он даже мертвый с ними
стоит у рубежей!

Да,
как на обелиски
во всех концах земли,
мы в полковые списки
товарищей внесли.

Они свое оружье
вручили нам живым.
И ты сегодня служишь,
не расставаясь с ним,
в пустыне приграничной,
храня Отчизну-мать!

* * *

...Есть в армии обычай
у знамени снимать.

На фоне полкового
запечатлеют вас —

солдата рядового,
как принято, анфас.

И полетит далеко
в письме, за сотни верст,
в парадной форме сокол
во весь гвардейский рост.

И девушке приснится
при знамени герой.
И станет мать гордиться:
«Весь род у нас такой!»

* * *

Ждала вестей Татьяна,
но почтальон не нес.
Вернется с поля рано —
грустит чуть не до слез.

Как наказал ей Федя:
на поле — за двоих.

А писем нет...
Соседи
прошли,
и вечер тих.

Одна, одна Танюша
ступила на крыльцо.
Кто обогреет душу,
заглянет кто в лицо?

Но только отворила
нескрипнувшую дверь —

сорвался белокрылый
к ее ногам конверт.
В конверте том на фото
у знамени заснят
гвардеец Зыксв Федор,
отечества солдат.
Он снова в жизни верный
ориентир берет.
Он сделал уже первый
в учебе шаг вперед.
Он суще стал, и шире,
и выше стал чуть-чуть.
Он страж покоя в мире,
он встал на батькин путь...

Об этом он Татьяне
прислал письмо в село.
Ни дни, ни расстоянье
не выдули тепло —
солдаты, офицеры
прислали ей привет,
и в каждой строчке
веры
и силы чистый свет!

И Таня сочинила
любимому ответ.

Жаль кончились чернила
и слов в запасе нет!

Всему не уместиться
страничках на пяти.
Пошло письмо к границе
по авиапути.

К брезентовым палаткам
опустится оно,
где после марша сладко
солдаты спят давно,
где на ночь, для прохлады,
подвернуты края.

...Поэму про солдата —
был сам таким когда-то! —
заканчиваю я.

Глава двенадцатая ГОВОРИТ ПЕХОТА

Нет, Орлы,
пехота не забыла
силу сокрушающего Ила,
не забыли мы,
как в час атаки
на прикрытье
выходили Яки,
как бомбили,
как долбали гадов,
аж земля
ходила от раскатов,
как в щебенку
превращались доты
после этой творческой работы!

Нет, друзья,
пехота не забыла,
как прямой наводкой
пушка била,
как входила
в дело корпусная,

как шумела
буря навесная,
как трудились
пушкари на славу,
извергая огненную лаву!

Нет, герои,
мы не позабыли,
как в завесах
снега или пыли,
по таежным трактам,
по шоссейным,
по весенним травам,
по осенним —
танки шли,
ломая оборону,
танки шли
к Хингану или Грону,
танки шли
с границы до границы.
Танки мыли
в Эльбе гусеницы!

Нет, бойцы,
пехота не забыла,
что связисты —
это тоже сила!
Пол-Европы вымеряв
и Азии,
знаем толк
в бесперебойной связи мы,
понимаем смысл
поддержки с моря,
видим друга верного
в сапере,
помним ход

днестровского парома
и минеров знаем
в годы грома!

Уважаем нашу медицину —
докторов
и медсестер веселых,
выносивших нас,
взвалив на спину,
врачевавших нас
в сожженных селах!

И, хотя
без лишнего восторга,
признаем
заслуги Военторга.

Ну, а нас —
а матушку-пехоту,
к дальнему привыкшую походу,
и — в атаку прямо с ходу,
с места,
при поддержке
мощного оркестра —
музыки военного сезона —
приданного нам дивизиона,
тоже помнят
все друзья по фронту,
уважают
спутники по флоту,
признают
приоритет за нами,
нас, простых,
чеканят на медали.

Под одно
мы собирались знамя!

Под одним —
врага мы побеждали!
В Армии —
как в боевом ансамбле —
сыграны все трубы и гармони,
сыграны орудия и сабли,
танки вездеходные и кони,
малые саперные лопаты,
и в одном строю с броневиками
толом начиненные гранаты
и штыки, граненныи с веками!

За броней
машины многотонной,
под водой,
высокой и студеной,
в небесах
или в тени орудий —
были наши братья,
наши люди!

Их дыханьем
были мы согреты,
уходя в разведки
и секреты.
Их поддержке
были благодарны,
атакуя
батальон ударный.
Им спасибо —
их глазам лучистым,
их сердцам, открытым и бесстрашным!
Слава понтонерам
и танкистам,
слава боевым артиллеристам —

всем соседям,
всем солдатам нашим!

...Отслужив сполна четыре года,
рядовым пришел я из похода.
Мне в бою, как честному солдату,
командир полка вручил награду.

И от имени друзей походных —
от солдат,

фронтовиков пехотных,—
я хочу напомнить тем, которым
мы уже не раз напоминали:
только им нужны
да их конторам
горы бури,
крови
и печали.

Мой народ
к святой работе призван —
мой народ
на стройках Коммунизма!

И солдат
чеканят на медали
в память
о походе и Победе,—
для того они и побеждали,
чтобы мирно жить на белом свете,
чтобы шире хлебные просторы,
чтобы больше чугуна и стали,
чтоб не мины, а руду саперы
щупом намагниченным искали,
чтоб согласно плану
степи покрывались лесами.

...Не смотрите из-за океана
мутными, недобрьми глазами!
Мой народ
на стройках Коммунизма.
Мой народ
его построить призван!

И хранят покой моей державы
от Амура и до Уж-реки
зоркие и чуткие заставы,
сильные и славные полки.

*ТУРКВО — Москва
1949—1950*

«НАША ЖИЗНЬ — ВСЕГДА ПЕРЕД АТАКОЮ!»

Не каждый поэт уже с первых опубликованных стихов становится лидером нового поэтического поколения. Семена Гудзенко называли так многие поэты-фронтовики (М. Луконин, С. Наровчатов, В. Субботин, М. Максимов и другие), как и он, начинавшие свою литературную биографию на полях сражений Великой Отечественной войны. Гудзенко сумел передать тот не-прикрашенный окопный быт, тот напряженный ратный труд, которыми жили на передовой, тот клич победы, крик боли и ненависть, которые переполняли тогда каждого и которые, казалось, невозможно высказать словами.

Эту особенность творчества молодого поэта отметили и известные художники слова, и знатоки поэзии уже на первом творческом вечере Семена Гудзенко, состоявшемся 21 апреля 1943 года. «Пришла какая-то очень земная поэзия,— говорила поэтесса Маргарита Алигер,— в наилучшей земле, живая, исцарапанная, и звучит это во много раз убедительнее. Здесь мы чувствуем настоящий трепет жизни, биение живого пульса». Это свойство стихов Гудзенко — чутко и обостренно воспринимать жизнь — подчеркивал и поэт Павел Антокольский: «Привлечен очень большой ответственный материал, который, как сердце, вынутое из груди человека, еще трепещет и сочится всем своим красным содержанием. И это составляет самое большое и благородное достоинство поэзии. В этих стихах биение пульса, перебои дыхания. Именно так и бьется человеческое сердце в своей сумке...»

Все стихи, прочитанные Семеном Гудзенко на первом поэтическом отчете, были о войне и рождены войною: чуть больше года прошло с того дня, когда

осколком мины юный поэт был вырван из фронтового строя. Скитаясь по госпиталям, долгие месяцы оправляясь от тяжелого ранения, он много и плодотворно работает над стихами, вновь и вновь мысленно возвращаясь к тому, с чем столкнулся в первые месяцы войны.

Когда на нашу страну напали фашисты, Семен Гудзенко заканчивал второй курс ИФЛИ (Московского института философии, литературы, истории имени Чернышевского). Как и многие его сверстники, в последние месяцы перед началом войны он жил в предчувствии ее неизбежности. В июле 1941 года вместе с другими ифлийцами Гудзенко пришел записываться в Отдельную мотострелковую бригаду особого назначения (ОМСБОН). Он с трудом добился разрешения на прием в бригаду из-за слабого зрения. Но для него жизненно важно было встать в общий строй: как и каждый советский человек, он жаждал с оружием в руках изгнать с родной земли фашистов. Уже шли оборонительные бои под Киевом, городом, где родился (в марте 1922 года) и вырос Гудзенко, откуда, закончив школу, прибыл в 1939 году в столицу покорять поэтический Олимп. Близость к родному городу он ощущал всю жизнь, военные беды Киева острой болью отзывались в сердце юного поэта.

«Для стихов и боевых эпизодов» предназначил Гудзенко свою первую записную книжку. Но начал заполнять ее не стихотворными строчками, а конспектами занятий по «Подрывному делу»: бригаду в августе 1941 года перебросили в Подмосковье для обучения азам армейской науки, ведь в подавляющем большинстве набирали ее из необстрелянных студентов, спортсменов, рабочей молодежи. Молодые бойцы готовились к походам в тыл врага, готовились взрывать дороги и мосты, закладывать минные поля, чтобы сорвать наступление врага. В середине октября бригаду по боевой тревоге вернули в Москву: в столице объявлено осадное положение. О тех октябрьских днях Гудзенко записал: «Темная Тверская. Мы идем обедать с винтовками и пулеметами. Осень 1941 г. На Садовом баррикады. Мы поем песню о Москве. Авторы — я и Юрка».

Накануне праздничного парада в честь годовщины Великого Октября бойцы, выстроившись во дворе Ли-

тературного института, где размещался в те дни батальон, произнесли слова военной присяги... Все вместе и каждый в отдельности клялись умереть, но не сдать Москвы. На следующий день полки ОМСБОН вместе с другими частями различных родов войск, держа равнение на Мавзолей, в торжественном, суровом марше проходили по Красной площади. А уже через несколько часов после парада первая рота под командованием старшего лейтенанта А. Мальцева, где служил красноармеец С. Гудзенко, как и другие подразделения ОМСБОНа, была отправлена в прифронтовую полосу со спецзаданием: минировать мосты, железнодорожные станции, шоссе, склады и взрывать их, отходя вслед за последними нашими войсками, за группами прикрытия. В тех походах многое было впервые для поэта: бомбежки, гибель первого командира роты, окружение, разведки, схватки с фашистами, победы и радость от встреч с вернувшимися с задания друзьями. В редкие минуты затишья между переходами и минированием Гудзенко писал первые военные стихи, законченные уже позднее, в Москве, после похода. Велик был запас впечатлений: в конце декабря 1941 г.—начале января 1942 г. одно за другим пять стихотворений за подписью «Красноармеец С. Гудзенко» появились в бригадной многотиражной газете «Победа за нами». «Отлично, Семен! — поддержали друзья.— Пиши еще! Про нас — «обветренных и юных»! Здорово ведь сказано!»

А Гудзенко уже собирался в новый поход. Первая рота почтой в полном составе вошла в отряд, сформированный для отправки в тыл врага. Противник, отброшенный от столицы в декабре, вновь готовился к наступлению, концентрируя силы в районах Калуги, Брянска, Смоленска. Именно туда отправился отряд, чтобы уничтожать коммуникации, чтобы помешать осуществлению планов гитлеровцев.

Те январские дни 1942 года, наполненные жестокими боями, стали, пожалуй, самыми яркими в воинской биографии юного поэта, стоявшего на пороге своего двадцатилетия.

...Двадцать два красноармейца не вернулись с поля боя. Погибли, но не отступили. Наутро в Гульцево, где оставались бойцы из отряда, вернулись лишь несколько человек. И Семен клял судьбу, что не довелось ему пойти в тот бой вместе со всеми. Всеказалось, что он со своим пулеметом заслонил бы това-

рищей от огня. В одном из переходов добрались до Хлуднева, только что освобожденного, и увидели место гибели товарищей и их самих...

Однополчан узнал я в черных трупах.
Глаза родные выжег едкий дым.
И на губах, обветренных и грубых,
кровь запеклась покровом ледяным.
Мы на краю разбитого селенья
товарищей погибших погребли.
Последний заступ каменной земли —
и весь отряд рванулся в наступленье.

2 февраля 1942 года Семен Гудзенко был тяжело ранен осколком мины. Уже в госпитале он подробно записал в дневнике события того дня: «2-го утром в Поляне. Иду в школу. Лежат трупы Краснобаева и Смирнова. Не узнать. Пули свистят, мины рвутся. Гады простреливают 50 м пути к школе. Прибежали... Пули рвутся в школе.

Бьет наш «максим». Стреляю по большаку... Пули свистят рядом. Ранен».

Читишь — и невольно встают в памяти строки стихотворения «Перед атакой»: столь похожи в нем ощущения бойца под обстрелом:

Снег минами изрыт вокруг —
и почернел от пыли минной.
Разрыв —
и умирает друг.
И значит, смерть проходит мимо.
Сейчас настанет мой черед.
За мной одним
идет охота.

Через полгода, по излечении, Семен Гудзенко был признан негодным к строевой службе и прикомандирован к редакции газеты «Победа за нами», где служил до конца войны, время от времени выезжая в командировки: то в Сталинград (после его освобождения), то в части, освобождавшие Украину, Бессарабию...

Чем дальше он отходил от всех, до мельчайших подробностей запомнившихся, событий первых месяцев войны, тем жестче, грандиознее представлял все уви-

денное и пережитое. То, что раньше, в пылу сражений, воспринималось хоть и тяжкой, но естественной неотвратимой чертой военного бытия, сейчас перерастало в емкий образ войны. В каждом стихотворении, написанном Гудзенко о войне,— те незаемные, неповторимые впечатления солдата, что приобрел он в боях, те живые, колоритные люди, что стояли с ним бок о бок в окопах, те несгибаемые характеры, что складывались, крепли у него на глазах. Поэт романтического склада, он сумел в своих военных стихах сплавить воедино романтический пафос, приподнятость и суровую, трагическую будничность мелких, казалось бы, деталей солдатского бытия («и у расстрелянных дорог»; «метр окровавленной земли»; «запомнились онемевшие рельсы»; «пепел костров и пепел волос»; «выковыривал ножом из-под ногтей я кровь чужую» и т. п.).

После войны Гудзенко ищет новые, мирные темы. Поиски эти активны, но нередко поэт — лишь восторженный репортер, и это привносит в строки риторику и всеобщность выражений. Но там, где он находил параллели с недавним прошлым, вызывал в душе тревоги и радости солдатского бытия, когда ощущал себя солдатом, а значит, соратником воевавших, погибших, продолживших солдатскую судьбу в мирных делах,— стихи становились открытием. Поэт понимал свою постоянную, плодотворную неразрывность с армейским прошлым, с однополчанами. «Наша жизнь — всегда перед атакою!» — в этом утверждении пафос многих его стихотворений, написанных после войны, но свидетельствующих о всегдашней готовности недавних фронтовиков вновь встать в строй. За время поездок поэта по стране немало было у него и встреч с солдатами, среди которых — и те, что прошли фронтовую выучку, и те, что не нюхали пороха в настоящем бою. Гудзенко читал им военные стихи, стихи о Закарпатье, о Туве, о борьбе за мир и чувствовал, что необходимо писать о них, солдатах призыва 1948—1949 годов.

«Я все время, глядя на солдат, думаю о том, что мы мало даем им романтических книг об армии. Ведь как волнует их то, что генерал Петров был комроты, а полковник Денисов — старшиной у него. И вот же выросли оба! Вот он, жезл маршала в ранце солдата. Об этом нужно писать...» — такова одна из его записей в дни поездок в Туркестанский военный округ (ТУРКВО) летом 1949 и осенью 1950 годов. И в этих

словах, пожалуй, основная мысль, подвигнувшая его писать поэму «Дальний гарнизон» по впечатлениям поездки в одну из частей ТУРКВО. Поэма — прямое продолжение армейских стихов. Сопоставление сегодняшней армии и ее совсем еще недавнего, военного прошлого, показ положительного влияния на молодого солдата (Федора Зыкова) опыта фронтовиков, да и их самих как героических личностей, ставших несомненным образцом для юношества, — это основной прием, определивший выбор и сюжета, и композиции, и персонажей. Показывая ветеранов войны: старшину Головко, генерала Багрова и, конечно, комвзвода Горбцова, Гудзенко невольно возвращается в свое прошлое, и потому столь естественны авторские лирические отступления, сохранившие не только верное ощущение войны, но и точные биографические детали.

...Ты был мне колыбелью,
Второй десантный полк!
В подоткнутой шинели
и я в атаку шел.
Я был стрелком не лучшим,
не первым храбрецом,
но на снегу скрипучем
упал вперед лицом,
упал, метнув гранату...

Это неподдельное авторское ощущение единства прошлого и настоящего Советской Армии является основным связующим элементом поэмы. Оно одухотворяет эпизоды однообразной на первый взгляд солдатской службы. В нем — исторически обусловленная преемственность боевых традиций старших поколений, закономерность и величие тяжких армейских будней.

Работая над поэмой «Дальний гарнизон», Гудзенко все более утверждается в правильности своей мысли о том, что военная тема не только не изжила себя, но стала особенно важна в дни обострения международной обстановки: «Многие офицеры,— записывал он в дневнике,— не хотят понимать трагедии первых лет войны и того, что мы плохо готовили народ, мало ему говорили о тяготах войны, о тяжести боев, о силе нашего противника. Теперь поэты и прозаики только так и должны воспитывать народ... Пахнет порохом, и поэтому с еще новой силой встает вопрос о литературе, посвященной послевоенной армии. Об этом надо

писать и говорить, чтобы не оказаться в неоплатном долгу перед народом...» Гудзенко мало успел сделать во исполнение этой задачи: поэма «Дальний гарнизон» да несколько примыкающих к ней стихотворений. Но поэма, с первой публикации завоевавшая признание и читателей, и критиков, до сего дня считается одним из лучших поэтических произведений об армейской службе в мирное время. На ней воспиталось не одно поколение молодых воинов. Прошли проверку временем и подавляющее большинство его военных стихотворений и баллад, доныне не утративших своей поразительной достоверности.

Тяжелая болезнь — отзвук военных ранений — зачеркнула планы поэта. Он перенес несколько тяжелых операций: врачи немало сделали, чтобы вернуть его к жизни. Но он знал, что дни его сочтены: «выбор небольшой: жизнь или смерть». И, оправившись после одной из операций, он пишет свои последние стихи, неразрывно связанные с теми, что написаны в годы войны. Та же воля к жизни, та же верность фронтовому братству.

Ждет меня любимая работа,
верные товарищи, семья.

До чего мне жить теперь охота,
будто вновь с войны вернулся я.

Жизнь его оборвалась 15 февраля 1953 года. Через несколько дней ему исполнился бы тридцать один год. Немногим более десяти лет продолжался активный творческий период, в течение которого Семен Гудзенко напечатал шесть небольших сборников стихов, седьмой, подготовленный им, вышел уже после его кончины. Он юношей пришел в поэзию и, возмужав за десять лет, остался до сих пор неувядаемо молодым. И в каждой его строке, в каждом движении его души — героический подвиг, совершенный нашей Советской Родиной в Великой Отечественной войне, стремление поэта оградить ее от грядущих войн.

Светлана ЯРОСЛАВЦЕВА

СОДЕРЖАНИЕ

Стихотворения

«Прожили двадцать лет...»	7
Первая смерть	8
Путь	10
Перед атакой	11
Подрывник	12
«...И наступило к вечеру затишье...»	13
Небеса	14
Костры	15
Баллада о доме	16
Баллада о дружбе	18
Память	21
Письмо с Волги	22
Гармоника	23
Киев	24
Возвращение	26
Вторая атака	27
Послесловие 1945 года	29
После войны	31
Мое поколение	32
«Я был пехотой в поле чистом...»	33
Сказка с былью	34
«Было всякое...»	39
«Я в гарнизонном клубе за Карпатами...»	40
Год рождения	41
У однополчан	43
О пехоте	45
Катюша	47
«Я пришел в шинели жестко-серой...»	48
Дальний гарнизон (<i>Поэма</i>)	51
«Наша жизнь — всегда перед атакою!» Светлана Ярославцева	152

Семен Петрович Гудзенко

ДАЛЬНИЙ ГАРНИЗОН

Редактор Н. И. Нетесина

Художественный редактор Г. В. Шотина

Технический редактор Р. Д. Каликштейн

Корректор М. С. Никитина

ИБ 3453

Сдано в набор 02.01.84. Подп. в печать 26.06.84. А05872. Формат 70×90/32. Бумага типогр. № 1. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. п. л. 5,85. Усл. кр.-отт. 7,02. Уч.-изд. л. 6,80. Тираж 50 000 экз. Заказ 298. Цена 75 к. Изд. инд. ЛХП—195.

Ордена „Знак Почета“ издательство „Советская Россия“ Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, пр. Сапунова, 13/15.

Сортавальская книжная типография Государственного комитета Карельской АССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, Сортавала, Карельская, 42.

